

**ЖУКОВСКИЙ — ИСТОРИК И ИДЕОЛОГ
НИКОЛАЕВСКОГО ЦАРСТВОВАНИЯ**

ТИМУР ГУЗАИРОВ



Отделение русской и славянской филологии Тартуского университета,
Тарту, Эстония

Научный руководитель:

профессор, кандидат филологических наук Любовь Киселева

Диссертация прошла предварительное рецензирование

Рецензенты:

профессор, кандидат филологических наук Андрей Немзер (Государственный университет «Высшая школа экономики», кафедра словесности, Москва)

лектор, PhD Татьяна Степанищева (Тартуский университет)

Диссертация допущена к защите на соискание ученой степени доктора философии по русской литературе 22 мая 2007 г. Советом отделения русской и славянской филологии Тартуского университета

Оппоненты:

профессор, доктор филологических наук Александр Янушкевич (Томский государственный университет, зав. кафедрой русской и зарубежной литературы)

профессор, кандидат филологических наук Андрей Немзер (Государственный университет «Высшая школа экономики», кафедра словесности, Москва)

Защита состоится 30 июня 2007 г.

ISSN 1406–0809

ISBN 978–9949–11–619–5 (trükis)

ISBN 978–9949–11–620–1 (PDF)

Autoriõigus Timur Guzairov, 2007

Tartu Ülikooli Kirjastus

www.tyk.ut.ee

Tellimus nr 123

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	7
Глава I. Программа николаевского царствования, предложенная Жуковским	16
§ 1. 14 декабря 1825 г.: выбор роли	16
§ 2. Жуковский — историк «великой» минуты	24
§ 3. В ожидании «другой минуты»: диалог поэта и царя	30
Глава II. В поисках идеала: Жуковский при дворе Николая I (1825–1839)	43
§ 1. Урок истории: диалог наставника и ученика	43
§ 2. Обретенное время: поэт и торжество 30 августа 1834 г.	58
§ 3. От мифа к мифу: поэт и торжества 1839 г.	67
Глава III. В поисках утраченного идеала: Жуковский за границей (1841–1850)	80
§ 1. Между реальным и идеальным мирами: Жуковский и семейство Николая I	80
§ 2. Утопия, или Иерусалимский проект поэта	103
§ 3. В поисках веры: о предыстории создания статьи Жуковского «О смертной казни»	114
Заключение	128
Список использованной литературы	134
Работы автора по теме диссертации	150
Kokkuvõte	151

ВВЕДЕНИЕ

Первыми биографами Жуковского были его друзья П. А. Плетнев (1853) и К. К. Зейдлиц (1883). Хотя взгляд на личность поэта был у каждого индивидуальным, биографическая канва виделась Плетневу и Зейдлицу более или менее одинаково. Приближение Жуковского ко двору они относили к 1815 г., когда поэт был назначен чтецом к императрице Марии Федоровне и прибыл в Петербург¹. Для них Жуковский вошел в придворную жизнь как поэт александровского царствования.

Жуковский конструировал иной взгляд на собственную биографию. «С 1817-го года начинается другая половина жизни моей, совершенная отличная от первой», — писал он к Николаю I 30 марта 1830 г. [Жуковский 1902: XII, 19]. Поэт не обмолвился ни о стихотворении «Певец во стане русских воинов», ни о послании «Императору Александру», ни о своей должности при императрице-матери. Новый жизненный период Жуковский также связывал с приближением ко двору, однако для него оно было ознаменовано назначением на должность учителя по русскому языку великой княгини Александры Федоровны.

Таким образом, в этом «автобиографическом» письме поэт связал всю свою придворную жизнь с семейством царствующего императора Николая I. Как нам кажется, это не случайно. Жуковский активно участвовал в идеологическом строительстве 1830-х гг., а свою должность наставника наследника престола, Александра Николаевича, воспринимал как миссию. В его взаимоотношениях с Николаем Павловичем было много конфликтов и взаимного непонимания², и все же именно с ним у Жуковского связывалось представление о знаменательном повороте в своей творческой деятельности.

Из биографов это обстоятельство тонко почувствовал Б. Зайцев. Во всяком случае, в его книге глава «При дворе» начинается с истории женитьбы великого князя Николая Павловича на прусской принцессе Шарлоте [Зайцев: 84]. Эта деталь нам представляется значимой.

С точки зрения императорской семьи, брак открывал путь к передаче престола от Александра I к Николаю³. Занятия Жуковского с Александрой Федоровной начались 22 октября 1817 г., когда она уже ждала ребенка.

¹ О петербургском периоде жизни поэта см. сочинение Р. В. Иезуитовой «Жуковский в Петербурге» [Иезуитова]. Эта книга представляет ценность именно как источник биографических сведений.

² О знаменитой «головомойке» 1 апреля 1830 г., обострившей отношения поэта и царя и спровоцировавшей размышления Жуковского о досрочной отставке с должности наставника цесаревича (см.: [Самовер 1995]).

³ Отдельные факты приведены в монографиях Н. Шильдера и М. Полиевктова. См. также специальную статью Л. Киселевой «Мифы и легенды “царской педагогики”»: Случай Николай I» [Киселева 2006].

17 апреля 1818 г. родился великий князь Александр Николаевич. На этот случай поэт написал послание «Государыне великой княгине Александре Федоровне на рождение в. кн. Александра Николаевича». Так получилось, что уже изначально Жуковскому была отведена своя роль в формировании «николаевского» сценария.

В 1821 г. он сопровождал Николая и Александру в Пруссию, где в их честь был устроен праздник, отразившийся в стихотворениях «Лалла Рук», «Явление поэзии в виде Лалла Рук», обращенных к Александре Федоровне. Жуковский становился поэтом великокняжеской семьи. Между тем, в Берлинском придворном календаре на 1824 г., как отметил Полиевктов, великий князь Николай Павлович уже был назван наследником [Полиевктов: 44].

14 декабря 1825 г., драматический день восшествия Николая I на престол, Жуковский провел в Зимнем дворце — с этого момента биография поэта окончательно переплелась с судьбой николаевского дома. Жуковский всецело посвятил себя подготовке к царской должности наследника престола и исполнению государственной миссии, а литературная деятельность отошла на второй план. Это обстоятельство на долгое время закрепило в научной литературе односторонний взгляд на последующую жизнь Жуковского.

Для издания стихотворений 1939 г. Ц. Вольпе подготовил краткий очерк о жизни и творчестве поэта. Автор подробно остановился на периоде до 1825 г.: на 34 страницах исследователь комментирует поворотные события биографии и значимые тексты Жуковского. Второму, николаевскому периоду, или 27 годам жизни поэта посвящено лишь 8 страниц. Мы почти ничего не узнаем о поэте-педагоге. Схожей точки зрения на биографию и творчество Жуковского придерживался Г. А. Гуковский: согласно его концепции (1946), после 1825 г. начался творческий закат поэта. Вместе с тем, ученый убежден: «печальный конец Жуковского не должен заслонить от нас всю его жизнь» [Гуковский: 20]. Очевидно, что при таком подходе творческая биография Жуковского в николаевскую эпоху оставалась менее оцененной и, как следствие, менее или, точнее, почти не изученной.

Жуковский присутствовал как при рождении, так, фактически, и при закате эпохи Николая I. Поэтому хронологические рамки нашей работы охватывают период 1825–1852 гг. На протяжении этого времени поэт находился в постоянном контакте и в диалоге с членами императорской семьи, несмотря на то, что с 1841 г. проживал за границей. Жуковский был очевидцем самых разных событий (от трагических катаклизмов до праздничных триумфов) этого времени, над историческим значением которых он постоянно рефлексировал. Поэтому в центре наших интересов оказываются тексты поэта, отражающие его общественно-политические взгляды в их диалогическом развитии.

В статье «История и историческая живопись» Жуковский выделил три вида историков. С точки зрения автора, истинный историк — это не летописец, фиксирующий какой-либо современный ему факт, и не ученый, «творящий из подробностей целое», а «историк-проповедник», выражающий «Бога в делах человеческих». Другими словами, это идеолог, пытающийся разгадать Божий замысел о событиях и способный передать его как власть предержащим (стать «наставником царей»), так и всем современникам. Именно таким историком Жуковский являет себя в поэтических текстах о событиях 1812–1814 гг., а затем в исторических и литературных сочинениях 1825–1850 гг., в центре которых находится уже фигура императора Николая.

В научной литературе Николай I обладает репутацией, сходной с репутацией позднего Жуковского: его считают убежденным консерваторм, чьи взгляды в конце 1840-х гг. приняли крайние формы. Это — внешняя точка сближения наших героев. Тем интереснее исследовать нюансы, создававшие ситуации, с одной стороны, их взаимного непонимания, конфликта, а с другой — внутреннего сближения.

Формирование и Жуковского, и Николая происходило в эпоху исторического слома, отмеченного напряженным взаимо- и противодействием идеалов и действительности, идеологии и политики, намерений власть имущих и последствий реализации этих намерений. Это — время утопий: поиска оптимального пути к магическому превращению реального мира в идеальный. Не случайно, что тема наступления «нового» (преодолевшего пороки предыдущего) времени постоянно будет встречаться в сочинениях Жуковского 1830–1840-х гг.

Начало XIX в., когда Жуковский приступил к профессиональной литературной деятельности, во всей Европе и в России было эпохой перемен, связанных с Великой французской революцией. Антинаполеоновские войны, в том числе Отечественная война (в ней поэт принял участие), роль России в освобождении Европы составили тот исторический опыт, из осмысления которого складывался устойчивый круг общественно-политических идей, устремлений, тем для рассуждений Жуковского, но также и Николая I. Знаменательно, что при составлении исторических вопросов для занятий с великим князем Александром Николаевичем поэт несколько раз акцентировал внимание своего ученика на судьбоносном значении 1789 г. Жуковский подготовил затем вопросник по русской истории, эта часть, как и все упражнение, заканчивалась вопросом о дате начала французской революции⁴.

⁴ Ср.:

В котором веке и году
после Р. X. началась Французская Революция?

в конце XVIII или в 1789

Какой третий период Новой Истории?

Какие века от начала франц. Революции? —

Конец XVIII и начало XIX.

Николай I также интересовался историей, в частности, Наполеоном и французской революцией. Известно высказывание юного Николая: «Король Людовик XVI не понял своей обязанности и был за это наказан. Быть милосердным не значит быть слабым; но государь не имеет права прощать врагам государства⁵» (цит. по: [Назаревский: 8]). Слова великого князя очертили те проблемы (идеал государя, соотношение милости и правосудия), которые стали узловыми, болевыми точками в диалоге между ним и Жуковским в 1820–40-е гг.

Главный конфликт новой эпохи революционных потрясений в Европе сводился к державинскому вопросу: «И быть, или не быть Царям?» Ответ предполагал глубокие размышления о природе монархической власти, о концепции государя, миссия которого заключалась в организации всеобщего благоденствия, что помогло бы избежать французского сценария.

Как отмечает Л. Хант, французские революционеры в своих публичных выступлениях и в политической практике были нацелены на переделку общества и общественных отношений: «Одной из важнейших попыток разрыва с прошлым было изобретение идеологии». Французы создавали новые «категории социального мышления и политической деятельности» [Hunt: 19]. В новом контексте человек слова приобретал идеологическую власть. Не случайно роль поэта в обществе становится одной из ведущих тем творчества Жуковского.

Тема сравнения Поэта и Монарха впервые появилась у него в стихотворении 1800 г. «Герой». Под пером Жуковского оба получали историческое,

после Р. X. он в себе заключал и сколько в нем лет. — 26 лет

в котором веке и году

после Р. X. низвергнут Наполеон

в начале XIX или 1815

Какое важное происшествие Новой истории
случилось при Екатерине II?

Началась французская
революция в 1789

[Исторические вопросы].

Поэт постоянно изучал историю французской революции, о чем свидетельствуют его письма, историко-политические статьи, круг чтения (см.: [Янушкевич 1990]). См. также статью Д. Ребеккини «В. А. Жуковский и французские мемуары при дворе Николая I (1828–1837). Контекст чтения и его интерпретация» [Ребеккини].

⁵ Ср. с характерным позднейшим высказыванием Николая I графу Ляфферонэ 20 декабря 1825 г.: «Я начинаю царствование под грустным предзнаменованием и со страшными обязанностями. Я сумею их исполнить. Проявлю милосердие <...> но с вожакими и зачинщиками поступлю без жалости, без пощады. Закон изречет им кару, но не для них я воспользуюсь принадлежащим мне правом помилования. Я буду непреклонен: я обязан дать этот урок России и Европе» (цит. по: [Назаревский: 27]). В беседе с французским послом император хотел представить себя идеальным монархом на фоне «неправильного» Людовика XVI.

государственное значение. В своих первых опытах поэт развивал европейские идеи второй половины XVIII века о просвещенной монархии.

В дебютном 1797 г. Жуковский сочинил текст под названием «Ода. Благоденствие России, устрояемое великим ея самодержцем Павлом Первым». Любопытно, что здесь как бы намечены главный сюжет и мотивы историко-политических рассуждений зрелого Жуковского. Это — достижение небесно-земной гармонии, символом которой станет «тишина золотая». Строительство «прекрасного мира» осуществится только под руководством монарха-человека. Поэт неоднократно напоминал членам императорской семьи эту мысль, которая в полной мере была идеологически оформлена в послании «Императору Александру» (см. [Зорин]; [Киселева 2005]).

В сочинениях Жуковского александровской эпохи формировалось теоретическое ядро, легшее в основу его общественно-политических воззрений. Оно присутствовало и в его идеологических практиках в николаевское время. Данная особенность мировидения поэта обусловила описание его историко-политической позиции в научной литературе в виде статичной, замкнутой системы.

В монографии «В. А. Жуковский. Поэзия чувства и “сердечного воображения”» (1904) А. Н. Веселовский посвятил отдельную главу рассмотрению общественных взглядов Жуковского. Мировоззрение поэта описывается ученым в форме своеобразного коллажа: на основу (постулат о неизменности взглядов поэта⁶) «наклеиваются» идеологические высказывания, взятые Веселовским из текстов Жуковского разного времени. Сходным образом поступила И. М. Семенко в книге «Жизнь и поэзия Жуковского» (1975), также сделав монтаж из фрагментов текстов разных лет. Например, автор привел только декларативный отрывок из сочинения «Черты истории государства Российского», однако не проанализировал собственно исторической канвы повествования. Таким образом, высказывание Жуковского было представлено вне того контекста, в котором оно возникло, функционировало, приобретало дополнительную идеологическую нагрузку.

Политические взгляды поэта И. Семенко рассмотрела в главе «Придворная карьера. Немецкие литературные влияния. Недовольство декабристской критики. Жуковский-воспитатель», т.е. автор пытался описать мировоззренческую систему поэта в историко-культурном контексте. Однако эта продуктивная методологическая интенция в должной мере, к сожалению, не была реализована. В главе, посвященной 1817–1841 гг., Семенко привела сентенции из поздних политических суждений Жуковского (1848–1850). В результате в следующей главе о заключительном периоде жизни поэта автор уже не затронул поздних политических статей Жуковского,

⁶ А. Н. Веселовский так подводит итог: «...едва ли в ту пору <1820-е гг. — Т. Г.> общественное мирозерцание поэта принципиально отличалось от воззрений его старчества» [Веселовский: 304].

и его общественные взгляды 1840-х гг. лишились своего естественного контекста. Такой подход был обусловлен представлением исследователя о Жуковском как о монолитном, сложившемся и не меняющемся консерваторе, чьи взгляды в конце 1840-х гг. приняли «крайние формы» [Семенко: 61].

Существенный шаг вперед сделал А. С. Янушкевич в 1985 г. в монографии с программным заглавием — «Этапы и проблемы творческой эволюции В. А. Жуковского». Ученый не только проанализировал тексты поэта в их окончательной редакции, но обратился к дневниковым записям, черновым наброскам, охарактеризовал круг чтения и знакомств, уделил большое внимание анализу генезиса его мировоззрения. Однако в новом издании (2006) исследование уже называется «Творчество Жуковского как художественная система». Трансформация заглавия представляется знаменательной. В конечном итоге, исследователь пришел, как и его предшественники, к похожему выводу: «Однако нет оснований думать, что взгляды Жуковского 1840-х годов резко изменились» [Янушкевич 2006: 269]. Мировоззрение поэта представлено ученым в виде последовательной, строго логичной системы с набором константных идей.

По нашему мнению, вопрос об общественно-политических взглядах не может быть решен на основе выделения и сравнения концептуальных *фрагментов* из рассуждений Жуковского, как это обычно делалось. Необходимо всесторонне рассмотреть не только варианты текстов, но и историко-культурные условия их появления. Характерно, что и рецепция членами царской семьи статей или писем Жуковского была противоречивой, существенно отличаясь в разное время, хотя темы и идеи, казалось, переходили из текста в текст. Даже при условии повторения любимых идей формы и контекст их выражения в разные периоды и в разных текстах Жуковского были различными, что вносило едва уловимые изменения, нюансы или даже колебания в мироощущение поэта в целом.

В нашей диссертации сделан акцент на изучении контекста, той историко-культурной ситуации, в которой устные и письменные тексты Жуковского создавались и функционировали. Такой исследовательский подход позволит точнее описать прагматику сочинений, риторическую стратегию их автора. Для нас существенной является методологическая установка Жуковского — путь к пониманию мировоззрения лежит через постижение логики мысли поэта и логики его образов.

В зависимости от цели и от адресата, от конкретного повода и бытового контекста Жуковский излагал свои взгляды по-разному. Его рассуждения находились в сложном взаимодействии и с сочинениями других авторов, а нередко и с собственными (написанными ранее или даже параллельно). Классический пример — двойной отзыв о смерти Пушкина: для всех — в «положительном» письме к С. Л. Пушкину и для немногих — в резком критическом письме к А. Х. Бенкендорфу (см.: [Щеголев: 146–183; 197–240]). «Двоемирие», проявлявшееся в колебании между сферами идеально-

го и реального, в авторской установке (текст для широкой или же узкой аудитории), характерно для идеологической практики Жуковского.

Политическая публицистика поэта уже становилась объектом специального внимания, например, в монографии И. А. Айзиковой «Жанрово-стилевая система прозы В. А. Жуковского» (2004). Однако нас не будет интересовать жанровая специфика текстов. В своей работе мы сосредоточимся на контекстуальном анализе, на межтекстовых связях сочинений поэта. С методологической и/или концептуальной точки зрения, нам близки работы И. Ю. Веницкого, А. Л. Зорина, Л. Н. Киселевой, Р. Г. Лейбова, Ю. М. Лотмана, Е. Э. Ляминой А. С. Немзера, А. Л. Осповата, Н. В. Самовер, Т. Н. Степанищевой (Фрайман), Р. Уортмана, А. С. Янушкевича.

Историософские тексты Жуковского (в основном, поэтические) были подробно проанализированы в последней книге И. Веницкого. Исследователь выделил три типа поэтического мышления, которые соответствовали трем хронологическим периодам в творчестве поэта. По мнению ученого, каждый следующий тип сменял предыдущий: «певец исторического триумфа» (1816–1821) — «спокойный интерпретатор настоящих событий» (1826–1834) — «провозвестник явления грозного судии» (1847–1850) [Веницкий: 26–27]. С теоретической точки зрения, стремление И. Веницкого представить историософскую позицию Жуковского в ее становлении и развитии представляет несомненный интерес и ценность. Вместе с тем, мы не можем полностью согласиться с предложенной ученым концепцией.

По нашему мнению, выделенные амплуа историка-поэта не сменяли друг друга, как один период жизни следовал за другим. Три разных типа исторического мышления у Жуковского дополняли друг друга и конкурировали между собой — часто в рамках единого хронологического отрезка. Поэт постоянно находился в диалоге, в поиске, в «промежуточном состоянии»: он неоднократно пытался заново раскрыть свой общественно-политический идеал и приспособить его к реальности. Именно поэтому цель настоящей работы — описать идеологическую практику Жуковского в ее исторической динамике. Бытовое поведение и сочинения поэта на конкретный случай, их рецепция и взаимодействие с другими участниками общего диалога — вот что является объектом нашего анализа. Наше исследование сфокусировано на изучении исторического мышления Жуковского в николаевское царствование, когда его роль в формировании государственной идеологии была заметной. Это позволит, в итоге, проследить и за «придворной» биографией поэта в целом.

В первой главе диссертации «Программа николаевского царствования, предложенная Жуковским» мы рассматриваем вопрос о самоидентификации поэта как историка и идеолога при дворе Николая I, а также вопрос о генезисе и эволюции его общественно-политической программы. В центре нашего внимания — реконструкция точки зрения Жуковского на события 14 декабря 1825 г., изучение того, как преломляются в его описаниях

события, свидетелем которых он сам являлся. Мы останавливаемся на проблеме формирования его исторической оптики и идеостилистики, а также развитии их в текстах поэта разного времени. Анализ модуса повествования позволяет выделить две концепции монарха, которые Жуковский стремился связать с фигурой Николая I: монарх-герой и монарх-человек. По нашему мнению, ведя диалог с царем, поэт отодвигал на второй план образ монарха-героя. Он стремился привить Николаю свое представление о монархе-человеке, о должном отношении к подданным, о приоритетах в государственной политике.

Вторая глава «В поисках идеала: Жуковский при дворе Николая I (1825–1839)» охватывает период нахождения поэта в должности наставника наследника престола. Это время характеризуется острой полемикой вокруг понятия об идеальном государе, а также поиском точек идеологического сопряжения между Жуковским и членами императорской семьи. В своей педагогической и идеологической практике поэт придерживался общей официальной линии, развивал ее смысловые интенции, подчеркивая, вместе с тем, ключевые для себя, но ушедшие для других в тень, идеи. Не случайно в дневнике Жуковский позволял себе критические высказывания, разрушавшие ту государственную мифологию, в строительстве которой он сам участвовал.

Отношение Жуковского не только к царским особам, но и к российской истории можно описать как движение от мифа к мифу, что проявилось в создании разных типов текстов — для себя, «для немногих» и «для других». Анализ исторических сочинений поэта и его текстов «на случай» позволяет проследить напряженный внутренний диалог между разными ипостасями Жуковского: частным человеком, наставником цесаревича и идеологом.

В третьей главе «В поисках утраченного идеала: Жуковский за границей (1841–1850)» мы реконструируем ранее не изученные эпизоды эпистолярного общения между поэтом и членами императорской семьи. Отчуждение со стороны царских особ по отношению к Жуковскому, как мы попытаемся показать, объясняется не житейскими обстоятельствами, а официальной точкой зрения на жизнь любого русского подданного за границей. В новых условиях и в меняющемся историческом контексте конца 1840-х гг. поэт остро почувствовал противоречия между своими идеальными представлениями о мире и действительностью.

Мы рассматриваем поздние общественно-политические «манифесты» и идеологическую практику Жуковского, направленную на создание положительного образа царя и России в Европе и внутри страны. В центре нашего внимания — история поиска Жуковским пути к достижению гармонии в мире, который, по его мнению, должен был устроить Николай I. Возникший новый мировоззренческий кризис сопровождался у Жуковского сложным поиском утраченных христианских идеалов, который завершился созданием утопии («иерусалимский проект») и сакрализацией

смертной казни. Изучение генезиса проектов Жуковского 1849–1850 гг. позволяет затронуть вопрос о характере развития мировоззрения и творчества поэта в целом.

В Заключении, содержащем краткие итоги исследования, мы касаемся проблемы репутации позднего Жуковского и рецепции его сочинений на духовные темы со стороны официальных лиц (в частности, цензурной истории подготовленного поэтом тома духовной прозы). Характеристика позиции Жуковского как историка и идеолога, по нашему мнению, создаст более цельный взгляд на биографию поэта в николаевское царствование.

В конце работы приведен Список использованной литературы, разделенный на три рубрики: архивные источники, печатные источники и исследования. Внутри каждой рубрики соблюдается алфавитный порядок.

ГЛАВА I

ПРОГРАММА НИКОЛАЕВСКОГО ЦАРСТВОВАНИЯ, ПРЕДЛОЖЕННАЯ ЖУКОВСКИМ

§ 1. 14 декабря 1825 г.: выбор роли

*Надежда наша несомненна,
что его величество соделает
Россию счастливою*

[Евреинова: 214].

14 декабря 1825 г. Жуковский провел в Зимнем дворце. В течение двух последующих дней поэт в письме к А. И. Тургеневу пытался воссоздать полную картину междуцарствия и возмущения. Письмо, однако, заканчивается загадкой: «... много, много еще сказать желалось» [ПЖТ: 211]. Что поэт не досказал своему другу, о чем *еще* он намеревался рассказать?

Из письма к Тургеневу мы узнаем, что 14 декабря в 10 часов утра Жуковский видел императора и императрицу. Около часа дня до него дошли первые тревожные сообщения о бунте на Сенатской площади. В третьем часу <sic!> поэту «сказывали шепотом» о присоединении к бунтовщикам Морского экипажа. Спустя некоторое время он увидел митрополита, позванного увещевать бунтовщиков. Когда стало темнеть, он заметил «шесть или восемь молний» от пушечных выстрелов. Затем во дворец вернулся государь.

Сведения о событиях, о поведении императора доходили до Жуковского через слухи, рассказы, циркулировавшие во дворце. Восстановить все услышанные им «истории» невозможно. Рассмотрим описание поэтом события, произошедшего вблизи Зимнего дворца и очевидцем которого он, по-видимому, был, хотя предпочел об этом умолчать.

Жуковский писал к Тургеневу: «Вдруг сказывают мне шепотом: Полки начинают колебаться. Лейб-гренадерский полк перешел. Морской экипаж присоединяется к бунтовщикам. И это была правда! О, это была самая решительная и страшная минута рокового дня» [ПЖТ: 206]. Исправим одну неточность сообщения, дошедшего до поэта. Сначала, как известно, перешел к мятежникам Морской экипаж. Только спустя час, приблизительно в 14.30, к бунтовщикам присоединился лейб-гренадерский полк, которым командовал поручик Панов⁷. Поэт точно назвал время: «Между тем уже

⁷ Во второй части письма Жуковский снова вернулся к событиям 14 декабря и нарисовал картину в целом, опираясь на более широкий круг «источников». Здесь Жуковский уже вполне точен: «За час прежде этого прибежал к бунтовщикам морской экипаж» [ПЖТ: 208]. Хроника событий 14 декабря блестяще реконструирована и проанализирована Я. Гордином в книге «Мятеж ре-

третий час». Соответственно, неизвестный собеседник рассказывал Жуковскому о колебании в войсках, точнее, о лейб-гренадерском полке, в тот самый момент, когда лейб-гренадеры находились, скорее всего, около Зимнего дворца. Обратим внимание на употребленный в настоящем времени глагол — «присоединяется». Реплика Жуковского — «И это была правда!» — возможно, намекала на то, что поэт смотрел из окна дворца и сам убедился в точности слов своего собеседника. Какую картину он мог увидеть? А. Н. Оленин свидетельствовал:

Между тем некоторое значительное количество солдат лейб-гренадерского полка, под начальством мятежника поручика Панова, бросилось к крепости, но не могли туда войти, кинулось ко дворцу, где на большом дворе поставлен уже был саперный батальон, свернутый в густую колонну. **Вдруг мы видим из окон дворца** <здесь и далее выделено нами. — Т. Г.>. вбегающего барабанщика и за ним толпу бегущих солдат, принимающих на право, но в то же мгновение вбегают офицер и командует: назад направо кругом! И толпа исчезает с ужасным криком. <...> Толпа лейб-гренадер, выбежав из дворца, построилась на площади и пошла мимо Государя в соединении к бунтующим. Никакие увещания самого Государя не могли их остановить [Оленин: 049].

Во второй части письма поэт пересказал близкую к общепринятой версию:

Около сумерек **увидели** <не Жуковский ли и его собеседник? — Т. Г.> бегущий от Дворцовой площади мимо народа и государя лейб-гренадерский полк. **Государь хотел его остановить**⁸, но один офицер, мальчишка Панов, выбежал вперед и закричал: «За мною! Ура, Константин!» и полк побежал на сторону бунтовщиков ... [ПЖТ: 208].

В рассказах «из дворца», как и в цитируемых ниже мемуарах Николая, было опущено одно важное обстоятельство (известное из показаний Панова): столкновение лейб-гренадеров с кавалерией [Гордин: 258–259; Нечкина 1985: 176–177]. Восклицание Жуковского — «О, это была самая реши-

форматоров» [Гордин]. Укажем также на книгу М. В. Нечкиной «День 14 декабря 1825 года» [Нечкина 1985]. Хотя с авторскими выводами мы не всегда согласны, но книга по-прежнему представляет интерес как попытка детально восстановить ход событий.

⁸ Ср. с воспоминанием А. А. Суворова-Рымнического: «Вдруг идет второй батальон л.-гв. Гренадерского полка, имея в голове поручика Панова и Сутгофа. <...> Государь, с великим, удивительным хладнокровием и величием показал сам рукою: «ступайте вот туды», и продолжал смотреть на проходящих лейб-гренадеров» [Суворов-Рымнический: 207]. Отметим, что в этой версии (опубликованной намного позднее в «Русской старине» и полностью согласной с мемуарами царя) уже отсутствует и упоминание увещания Николаем бунтовщиков. С течением времени свидетели выстраивают оптимальный образ государя-героя. Не было ни кровавой схватки, ни малейшего волнения царя — критическая ситуация описана как «идеальная» парадная ситуация: государь хладнокровно и величественно приказывает, бунтующие солдаты исполняют.

тельная и страшная минута рокового дня!» — не относится ли именно к этой увиденной им картине? Николай I позже признался в мемуарах: «Ежели саперный батальон опоздал только несколькими минутами, дворец и все наше семейство были б в руках мятежников...»⁹ [Николай I: 59]. При определенных условиях лейб-гренадеры могли захватить Зимний дворец (в этом и состоял план Панова). Последствия могли быть самыми непредсказуемыми и трагическими, в том числе, не только для членов императорской фамилии. Начальная фраза письма — «Провидение сохранило Россию» — точно передала мироощущение поэта в тот момент¹⁰.

По нашему предположению, Жуковский, несмотря на подробное письмо о междуцарствии и бунте, не решился рассказать А. Тургеневу обо всем увиденном им 14 декабря. Поэт, не договаривая до конца, мог лишь проговориться или намекнуть на то, что он видел что-то еще и хотел бы и это рассказать, но не имеет возможности. Жуковский неоднократно возвращался к описанию отдельных эпизодов междуцарствия, которое каждый раз строилось как «великий» рассказ о «единственной минуте». Показательно наличие в более поздней прозе поэта выражений, использованных им в 1825 г. при описании события 14 декабря и поведения императора. Жуковский трансформировал и моделировал произошедшие события согласно складывавшейся официальной версии. Он выделил из всех перипетий одного дня те моменты, которые стали своеобразным лейтмотивом в его исторических рассуждениях разного времени.

Жуковский отправил письмо к Тургеневу 16 декабря. Карамзин сообщал в письме к тому же адресату 18 декабря: «Жуковский, по его словам, пишет к вам обстоятельно, как историк» [Карамзин 1866: 466]. По-видимому, 14–15 декабря поэт и историограф обсуждали произошедшие события. Хотя содержание их разговоров нам неизвестно, Жуковский, вероятно, использовал в своем письме сведения и суждения Карамзина. Историограф был не только свидетелем расстрела на Сенатской площади, но и собеседником будущего царя в конце 1825 г.

⁹ Обратим внимание на экспрессивный вопрос Жуковского: «Что, если бы прошло еще полчаса?». Здесь важно подчеркнуть не только совпадение чувств и оценки у царя и поэта, но то, что вырвавшаяся реплика — это дополнительный аргумент в пользу того, что Жуковский внимательно следил за ситуацией вокруг Зимнего дворца, однако предпочел не писать о ней Тургеневу. (Напомним, что пушечная стрельба, подавившая бунт, была открыта не через полчаса, а через час после присоединения лейб-гвардии Гренадерского полка к восставшим, т.е. в четыре — в начале пятого).

¹⁰ Ср. с репликой Николая: «Из сего видно самым разительным образом, что ни я, ни кто не могли бы дела благополучно кончить, ежели бы самому милосердию Божию не угодно было всем править к лучшему» [Николай I: 60]. Тема покорности монарха воле провидения как признак истинного царя постоянно подчеркивалась (в том числе Жуковским) при описании междуцарствия 1825 г. и типологически близких ситуаций.

В декабрьские дни Карамзин постоянно виделся с Николаем, вел с ним «просветительские» беседы и, по мнению А. Корнилова, «дал ему <Николаю I>, можно сказать, общую программу царствования» [Корнилов: 288]¹¹. Будущий государь поручил историографу отредактировать манифест на восшествие на престол. Однако карамзинский вариант не понравился Николаю: похвалы умершему брату вызвали раздражение у нового императора, который тогда обратился к Сперанскому (отметим, что в записках, составленных в начале 1830-х гг., император «забыл» о своем первоначальном обращении к Карамзину). В первые дни после 14 декабря Жуковский мог узнать историю с манифестом¹² от Карамзина, размышлявшего над вопросом: каким образом внушить *верные*, с его точки зрения¹³, представления о монархической власти новому императору?

Историограф решил приблизить к государю «арзамасцев» Дашкова и Блудова. Другой «арзамасец» Жуковский был назначен наставником наследника престола, хотя Николай I, зная от супруги о педагогических качествах поэта¹⁴, не должен был бы его утвердить на этой должности. На окончательный выбор императора повлияли, с одной стороны, мнение Карамзина о Жуковском¹⁵, а с другой, личное знакомство с поэтом.

В конце 1825 г. изменился тип общения между придворным поэтом Жуковским и императором Николаем I. По инициативе Жуковского завязался идеологический диалог между наставником наследника престола и монархом, который поэт вел по своим, непривычным для Николая, правилам. «По смерти Карамзина, — писал Вяземский Жуковскому 29 сен-

¹¹ См. также статью А. Зубова «Николай Первый Павлович» [Зубов].

¹² Карамзин не делал из тайны из истории, произошедшей в стенах дворца. 16 декабря он записал в дневнике: «Для сведений моих сыновей и потомства» [Карамзин 1866: 462], — и далее рассказал всю коллизию составления манифеста. В заключение Карамзин высказал свои опасения: «Один Бог знает, каково будет наступившее царствование. Желая, чтобы это сообщение было любопытно для потомства: разумею, в хорошем смысле» [Там же: 464]. В этом контексте проблема ведения диалога с властью встала перед Карамзиным особенно остро.

¹³ Историко-политические взгляды Карамзина были рассмотрены в классических работах Ю. М. Лотмана, Н. Я. Эйдельмана, Дж. Л. Блэка. См.: [Лотман 1997]; [Эйдельман 2004]; [Black].

¹⁴ Императрица писала: «...в учителя мне был дан Василий Андреевич Жуковский, в то же время уже известный поэт, но **человек он был слишком поэтический, чтобы оказаться хорошим учителем** <...>. Поэтому русский язык я постигала плохо <...> в продолжение многих лет не имела духу произносить на нем цельных фраз» [Александра Федоровна: 45]. О репутации Жуковского-педагога при дворе см. подробнее: [Киселева 2004].

¹⁵ См. свидетельство Вяземского: «Призванием своим на новую дорогу Жуковский обязан был первоначально себе, то есть личным своим нравственным заслугам, дружбе и уважению к нему Карамзина и полному доверию Царского семейства к Карамзину» [Вяземский 1876: 92].

тября 1826 г., — ты призван быть представителем и предстателем Русской Грамоты у трона безграмотного» [АТ: VI, 41]. В общении Николай I, однако, предпочитал Жуковскому-наставнику Жуковского-певца и человека, которого он понимал и ценил¹⁶.

После утверждения в новой должности Жуковский работал над составлением «Плана обучения» наследника престола. Поэт отправил к Николаю I письмо, в котором предложил свою программу царствования (отрывок с некоторыми изменениями и дополнениями вошел в статью «Польза истории для государей», предназначенную для занятий с цесаревичем и опубликованную в 1829 г. в придворном журнале «Собиратель»):

Уважай **закон** и научи уважать его своим примером <...>. Люби и распространяй **просвещение** <...>. Уважай общее мнение <...>. Люби свободу, то есть **правосудие** ибо в нем **милосердие** Царей и свобода народов; **свобода** и порядок — одно и то же <...>. Владычествуй не силою, а порядком <...>. Будь верен слову <...>. Уважай народ свой [План: 251–252].

В письме к Николаю Павловичу Жуковский восстановил все программные положения манифеста Карамзина: требования просвещения, закона, правосудия, милосердия, свободы. Сравним слова Жуковского с карамзинскими тезисами, которые Сперанский, по требованию Николая I, исключил из окончательного текста манифеста¹⁷:

¹⁶ Николай I в первые дни после воцарения подчеркнул: «Я хочу воспитать в моем сыне **человека**, прежде чем сделать из него Государя» (цит. по: [Михневич: 368]). В своих записках (под ред. дочери) А. О. Смирнова-Россет привела показательную в этом отношении сцену, традиционно происходившую между государем и его сыном: «Государь быстро оценил его, это видно по всему его обращению с Жуковским и по тому, что он говорил своему сыну, совсем ребенку, когда тот приходил прощаться вечером: «Доволен ли тобой, за эту неделю, Василий Андреевич? Я говорю **не об уроках**, а о твоём поведении; надо, чтобы ты заслужил его уважение и его одобрение, так как твои родители его очень уважают» [Смирнова-Россет 2003: 332]. При дворе Жуковский ценился, прежде всего, как человек особой репутации, нежели «реальный» наставник будущего монарха. Такой взгляд характерен и для очерка о поэте, написанного в последний год правления Александра II: «Августейшие родители Цесаревича желали, чтобы наставники прежде образовали из него доброго человека <...> В наставники сыну Государыня желала не Маккиавелля, не Меттерниха, не Тайлера... а **лишь доброго, честного, просвещенного человека**» [К. П.: 261]. Показательно, что в научной литературе встречаются характерные описки: поэта называют воспитателем, а не наставником цесаревича.

¹⁷ По словам Карамзина, в его варианте манифеста «нашли тут повод к толкам, вид самохвальства, излишние обязательства; велели переделать, выпустить все, что выразило бы характер или намерения нового царствования» [Карамзин 1866: 464]. Николай I не был против закона, просвещения, милосердия (эти принципы он сам неоднократно провозглашал), но вкладывал в них свой смысл и явно опасался, что эти слова могли быть поняты совсем иначе, нежели ему хотелось.

Да благоденствует Россия своим уже приобретенным могуществом, внешнею безопасностью, внутренним устройством, чистою Верою наших предков, государственною и воинскою доблестью, истинным **просвещением** ума и непорочностью нравов, плодами трудолюбия и деятельности полезной, мирною **свободою** жизни гражданской и спокойствием сердец невинных! Да будет Престол наш тверд **законом** и верностью народною! Да соединится неразрывно, под нашею державою, **правосудие** неослабное с **милосердием** человеколюбия! [Карамзин 1866: 463]

Жуковский продолжил линию Карамзина и напомнил Николаю I о содержании их декабрьских разговоров с автором «Истории Государства Российского». Карамзинские идеи о ненужности России внешних приобретений, о необходимости внутреннего, мирного развития станут главными тезисами программной статьи Жуковского «Воспоминание о торжестве 30 августа 1834 года». Приняв на себя в начале 1826 г. «карамзинскую» неофициальную роль наставника *царя*, поэт начал вести непрерывный и трудный диалог с Николаем I.

В заключение своего программного письма Жуковский коснулся одного эпизода из происшествий 14 декабря, напомнив императору: «...**в минуту опасную вы вверились своему народу**; вашей неустрашимости обязаны мы сохранением спасительного Царского трона; с этой минуты видим деятельность, имеем право надеяться времен прекрасных, порядка, законов, просвещения...» [План: 253]. Поэт не просто выразил надежды (естественные при начале правления), но заявлял о праве нации требовать от монарха осуществления чаемых преобразований. Жуковский, тем самым, заключал между монархом и его подданными общественный договор, основой для которого для него служил выход Николая I к народу на Дворцовую площадь в 11 часов 30 минут 14 декабря 1825 г.

В письме к А. Тургеневу от 16 декабря 1825 г. поэт писал: «Вдруг мне сказывают: император вышел из дворца, стоит посреди народа, говорит с народом, ему кричат: ура! Это меня порадовало» [ПЖТ: 206]. Другие очевидцы видели из окон Зимнего дворца, как сначала государь читал народу манифест, а затем лично повел преображенцев к Сенату. Последней сцены и всего эпизода на Дворцовой площади Жуковский якобы не видел (на чем он настаивал в письме к Тургеневу) — мы, однако, в этом сомневаемся¹⁸.

¹⁸ Я. Гордин обратил внимание на очень любопытные детали. Перед выходом на Дворцовую площадь император приказал барабанщикам бить поход: «Николай хотел, чтобы его первое соприкосновение с войсками в качестве императора было обставлено со всей ритуальной торжественностью. И дело здесь не в солдафонском его педантизме, а в тех надеждах, которые он возлагал на психологическое воздействие воинских ритуалов» [Гордин: 198–199]. После прочтения манифеста народу, императору Николаю I «пришлось самому вести преображенцев на мятежников <...> оттого, что ему некого было послать во главе» их. Историк резюмирует: «И эта ситуация еще раз свидетельствовала о шаткости

В полдень 14 декабря около Зимнего дворца обстановка была неясной и непредсказуемой, поэтому все стремились следить за событиями своими глазами. Генерал-майор Голенищев-Кутузов вспоминал: «... **вся драма происходит на глазах** нежно любимых им матери, супруги и детей, с трепетом следящих за его действиями из окон Зимнего дворца» [Голенищев: 231]. Свидетельство из записок М. С. Мухановой: «Отец мой подошел к окну комнаты пред кабинетом, где стоял Николай Михайлович Карамзин, и тут увидел, что Государь стоит в воротах и читает манифест войску. <...> Скоро в эту комнату вошла императрица Мария Федоровна, держа за руку Наследника престола <...> и в сопровождении императрицы Александры Федоровны» [Муханова: 316]. Оленин утверждал, что «чиновники канцелярии устремились к окнам на большой дворцовый двор и смотрели на оной в большом безпокойствии. <...> Я тотчас побежал на другой конец дворца в фонарик, что выходит на дворцовую площадь...» [Оленин: 733]. Возникают вопросы: где и с кем был в тот момент Жуковский? что делал? Из его рассказа нам это совершенно не ясно. Неужели он так и не выглянул из окна?

Осторожно предположим, что «слепота» Жуковского в письме к А. Тургеневу, скорее всего, отражала принципиальную авторскую установку — стремление смоделировать *post factum* определенный образ Николая I в глазах его подданных. Поэт приспособливал свой идеал отношений между монархом и народом к реальной ситуации. Поэтому в картине, нарисованной Жуковским, военный облик императора-героя по возможности ослаблен и оттенен образом монарха, любимого своим народом¹⁹.

Репутация Николая Павловича и отношение к нему в обществе в декабре 1825 г. были сложными и противоречивыми. Графиня М. Д. Нессельроде писала о великом князе к Н. Д. Гурьеву:

Опасаются, как бы он, если будет царствовать, не оказался недостаточно опытным и не проявил слишком большой охоты воевать и создавать себе этим имя, к чему он и в самом деле стремится. Он постоянно говорит, что стыдно командовать войском, которое покрыло себя славой, и в то же время самому даже не понюхать пороха. Но ведь ему всего двадцать девять лет; может быть, сделавшись государем, он отбросил бы пристрастие к военным мелочам, проявил бы

опоры самодержавия в кризисный момент» [Там же: 202–203]. Хотя в написанных после 14 декабря воспоминаниях поступок Николая I неизменно изображался как героический (таким он и был), все же ситуация, с точки зрения идеологического строительства, была неоднозначной — поэтому поэт, почувствовав двойственность и противоречивость увиденного эпизода, предпочел о нем «забыть».

¹⁹ Биограф Николая I Н. К. Шильдер, читая в книге М. Корфа «Восшествие на престол императора Николая I» описание сцены на Дворцовой площади и изъявления народной любви к царю, дважды отметил «Вранье» (пометки историка см.: [Сказин]).

себя хорошим администратором и прислушивался бы к советам опытных людей [Нессельроде: 267].

Николай I понимал настоятельную необходимость внутренних преобразований и сделал подготовительные шаги в этом направлении. 6 декабря 1826 г. был учрежден первый специальный Комитет. 6 февраля 1827 г. царю был представлен «Свод показаний членов злоумышленных обществ о внутреннем состоянии государства», который он затем неоднократно просматривал. Однако мысли о реформах и войне в его сознании сосуществовали.

16 июля 1826 г. началась Русско-персидская война. 7 мая 1827 г. император отправился на смотр войск 2-пехотного корпуса в Вязьму; в мае же началась весенняя кампания в Закавказье. После окончания русско-персидской войны 10 февраля 1828 г. уже 14 апреля началась русско-турецкая война.

В дневнике 1828 г. Жуковский сделал подробную запись об обязанностях монарха перед народом (этот отрывок мы находим также среди материалов для «Собирателя» — Николай I, вероятно, знал о записке). Поэт подчеркнул:

Но если в дни спокойствия и изобилия народ обременен всеми бедствиями войны, <...> каких ожидать последствий! Они очевидны! <...> И любовь к Государю <...> уступит место ненависти. <...> Но настоящая причина всякого возмущения есть почти всегда правительство [Жуковский: XIII, 302].

Идеальный монарх, как полагал поэт, — это законодатель и просветитель. Своими деяниями и человеческими качествами государь должен заслужить народное уважение. Поэтому его энергия должна быть направлена на мирные труды, а не на военные достижения²⁰.

Идея о мирном созидании была тесно связана у Жуковского с вопросом об отношении власти к общественному мнению (к ее помощнику в деле государственного строительства), а также к просвещению и нравственному воспитанию народа. В письме к императору он писал:

... мысли могут быть **мятежны**, когда правительство притеснительно или беспечно; общее мнение всегда на стороне правосудного Государя. <...> народ без просвещения есть народ без достоинства; <...> из слепых рабов легче сделать свирепых **мятежников**, нежели из подданных просвещенных, умеющих ценить благо порядка и законов [План: 252].

²⁰ Участие в восточных походах 1820-х гг. было не только исполнением давней мечты царя о личном героизме. «Идеальная» война воспринималась им как средство пробуждения национально-патриотических чувств и достижения экономического подъема в стране [Россия под надзором: 31]. Однако надежды и реальность не совпали. А. Х. Бенкендорф недоумевал: «...фрондирующие старались посеять беспокойство, постоянно утверждая, что Государь увлечется войной, что гражданские дела начали уже Ему надоедать» [Там же: 31].

С точки зрения поэта, задача просвещения заключается в установлении духовной связи между царем и подданными, основанной на свободном принятии общих государственных идеалов.

Программное письмо поэта к императору, как и статья для «Собирателя», по нашему мнению, имели не абстрактный характер. В этих текстах преломились события, связанные, тем или иным способом, с днем 14 декабря, его последствиями, участниками и свидетелями. Все рассуждения Жуковского пронизаны анализом причин и условий бунта. Одновременно программа поэта, направленная на предотвращение возможного мятежа, предполагала и идеологическую защиту монархической власти. Поэтому Жуковский всегда принимал участие в формировании официальной версии событий междуцарствия.

В декабре 1825 г. Жуковский выбрал роль архитектора николаевского царствования, которая состояла из двух амплуа, так сказать, «внутреннего» (наставника царя) и «внешнего» (идеолога).

§ 2. Жуковский — историк «великой минуты»

Этот заговор <...> дал новому императору возможность проявить себя. Одно мгновение показало его будущее
[Ансело 2001: 84].

Для описания событий 1812–1814 гг. Жуковский использовал поэтическую форму, которая подталкивала к созданию точных, емких формул (см., например, тексты 1813 г. «Русскому царю» или «Молитва Русского народа»). Показательна популярность военно-патриотической лирики Жуковского, это — знак удачно найденных автором выражений, наиболее верно и полно передающих всеобщее настроение.

Для осмысления происшествий 1825 г. поэт-историк обратился к прозаической форме, которая позволяла объяснять, детализировать, нюансировать столь сложные перипетии. Вместе с тем, Жуковский использовал и в своей прозе формулы, которые, с одной стороны, удачно вписывались в создававшуюся традицию освещения обстоятельств 14 декабря. С другой стороны, эти идеологические конструкторы помогли самому поэту сформировать общий взгляд на историю и подчеркнуть главные черты идеального монарха.

Жуковский в письме к А. Тургеневу, рассказывая о событиях 14 декабря, дал следующую характеристику новому императору:

Одним словом, во **все эти решительные минуты** он явился таким, каков он должен быть: спокойным, хладнокровным и неустрашимым. <...> Он покрылся честью **в минуту**, почти безнадежную для России. <...> Государь отстоял свой трон; **в минуту решительную** увидели, что он имеет и ум, и твердость, и неустрашимость. Отечество вдруг познакомилось с ним... [ПЖТ: 211].

Как мы увидим из дальнейшего изложения, историческую позицию Жуковского характеризует сознательное стремление разглядеть в толще событий ключевые, с его точки зрения, мгновения и осмыслить, описать именно их. Жуковский — это историк «минуты».

Именно через призму происшествий конца 1825 г. Жуковский воспринимал революционные события в Европе конца 1840-х гг., что ярко проявилось в стилистике статей этого времени. В письме к наследнику престола от 16 мая 1848 г. поэт описывал прусские события следующим образом:

Еще надобно здесь прибавить одно: в эту **решительную минуту** король был как полумертвый, всех сил физических лишенный. <...> **С этой минуты** король стал пленником бунтовщиков и их представителей — министров; с этой минуты ни одно им сказанное слово — не *его*. Он не устоял в первом бою, потому что физически и нравственно был уничтожен, и его бессилием энергичски воспользовались предатели; он был в обмороке, и его бесчувственного опутали. <...> при всех его дарах ему не дано было того великого дара **решительности в роковую минуту**, которая хранит и спасает [Жуковский 1885: VI, 551–553].

Сравним с письмом от 11 ноября 1848 г.:

Происшествия последнего времени и все его царствование доказали, что **он не имеет свойства решиться вдруг, в надлежащую минуту** [Там же: VI, 564].

Использованные Жуковским формулы, с одной стороны, типологически сближают события 1825 г. в Петербурге и события 1848 г. в Берлине (это — роковая, т.е. судьбоносная, минута царствования), а с другой, указывают на скрытое противопоставление русского императора и прусского короля. Для оценки монархов поэт использовал одно мерило: «дар решительности в роковую минуту». Наличие его или отсутствие определяет не только историческую судьбу монарха, но и выявляет характер его власти. Позицию Жуковского по отношению к Фридриху Вильгельму IV можно описать словами Пушкина. За несколько месяцев до начала междуцарствия 1825 г. Пушкин написал об Александре I: «Он человек! им властвует мгновенье. / Он раб молвы, сомнений и страстей» [Пушкин: II, 282].

В декабре 1825 г. Николай I, по мнению Жуковского, предстал эталонном монарха, управлявшим ходом истории и проявившим свои личные достоинства царя, что стало особенно очевидным на фоне Фридриха Вильгельма IV.

Другой пример такого восприятия коллизий 1840-х гг. — это статья «О происшествиях 1848 г.». Жуковский, негативно оценив совершившиеся в Европе события, припомнил другую «единственную минуту» конца 1825 г. — присягу Николая Константинову²¹:

²¹ Этот эпизод междуцарствия в изложении Жуковского не совсем отвечал официальному канону, что обусловило цезурные трудности в 1856 г. Вяземский писал: «Все эти обстоятельства не совершенно согласны с теми, которые упо-

... но когда надобно было произнести слова: императору Константину Павловичу, дрожащий голос сделался твердым и громким; все **величие этой чудной минуты** выразилось в его мужественном, решительном звуке. <...> Я, со своей стороны, не знаю ни в истории народов, ни в истории души человеческой **ни одной более возвышенной минуты**. <...> не умирающие дела души принадлежат листам той вечной книги Божией, которая некогда разогнется на последнем суде Его. И на одном из листов этой книги яркими чертами записана та **великая минута моего императора**, о которой, может быть, **ни слова не скажет история**. Если же она скажет о ней, то она в то же время должна будет признать, что слово: Божиею милостию имеет свой полный смысл в императорском титуле Николая I-го [Жуковский 1902: X, 110–111].

Это описание также имеет претекст — письмо Жуковского к А. И. Тургеневу от 28 ноября 1825 г.:

... все, кто был с ним вместе в церкви, присягнули новому императору Константину. Великий Князь вял голосом и не мог произносить явственно слов присяги; но имя Императора произнес решительным и твердым голосом. **Эта минута** дала ему прекрасное место в истории и в сердце Русских. **Эта минута** была единственно утешительная в ужасный день нашей потери. Чувство добродетельного, высокого дела есть бальзам на рану сердца. **Эта минута** — поступок героический — спасла настоящее и пролила утешительный свет на будущее [ПЖТ: 202].

Для Жуковского степень значимости этого мгновенья в 1848 г. по сравнению с 1825 г. качественно возросла: теперь это факт всеобщей и Божественной истории. «Утешительная», «героическая» «минута» трансформировалась в «возвышенную», «великую» «минуту», которая окружила царя и его власть божественным ореолом. Поэт активно продолжал участвовать в формировании официального языка и канона описания коллизии 1825 г.²²

минались Бароном Корфом, но подобные расхождения не составляют впрочем исторического противоречия. <...> спорные места должны быть представлены на благоусмотрение Его Императорского Величества...» [Вяземский 1856]. Любопытно, что Корф в книге «Восшествие императора Николая I» привел высокую оценку Жуковского факта присяги Николая Константину. Разумеется, мысль Жуковского, что «Его Величеству положительно было известно назначение его наследником престола» [Там же], не была включена Корфом. В свете этого документа возникает интересный вопрос: когда Жуковский сам узнал об этом щекотливом обстоятельстве? Знал ли он о планах Александра I и Марии Федоровны передать престол Николаю?

²² Сравним с некоторыми примерами. Графиня Нессельроде писала 13/25 декабря: «Если все пройдет в порядке, это будет единственным в истории примером» [Нессельроде: 273]. По мнению Дивова, поведение царских братьев «представляло в летописях истории изумительный и единственный доблестный пример величайшей добродетели» [Дивов: 465]. Голицына была уверена, что «публичное и торжественное отречение стало для него <Константина. — Т. Г.> своего рода триумфом» [Голицына: 142]. Вдали от Петербурга, согласно Вигелю, «в поступке Константина Павловича увидели трогательное самоот-

Жуковский сакрализировал царские поступки начального периода правления и использовал созданный вокруг них идеальный ореол как безусловный аргумент, доказывавший правильность николаевской политики в 1848–1850 гг. Если выражение «единственная минута» поэт впервые использовал при описании коллизии 1825 г., то в дальнейшем схожим образом представлены типологически близкие исторические события 1831 г., 1848–1849 гг., так или иначе связанные с темой подавления бунта.

В статье «Русская и английская политика» 1850 г. упоминание венгерского похода сопровождается следующим комментарием: «...немного месяцев прошло с той **единственной в истории минуты**, как русский полководец <...> повел обратно в отечество полки свои» [Жуковский 1902: XI, 39]. Жуковский, находившись в 1840-е гг. в центре европейских событий, рассказывал о них не просто с оглядкой на Россию, но непосредственно через призму — смысловую и стилистическую — «великой минуты» 14 декабря 1825 г.

В письме к Константину Николаевичу от 19 октября 1849 г. поэт писал:

Поэзия не заключается в одном *стихотворстве*: она есть дух жизни Божией <...> и много было на земле поэтов, не написавших ни одного стиха. Например, **одна из высочайших минут** такого вдохновения выразилась в одном слове: *на колена!* которым многочисленная толпа бунтующего народа брошена была на землю перед святынею веры и власти. И отсутствие этой-то поэзии произвело то, что теперь везде перед нашими глазами творится [Жуковский 1878: VI, 370–371].

История, по Жуковскому, — это проявление Божественной воли, а истинного исторического деятеля можно уподобить поэту, на которого нисходит божественный глагол.

В процитированном отрывке из письма к Константину Николаевичу Жуковский вспомнил поведение и речь Николая перед народом во время холерного бунта 1831 г. Поэт, опираясь на услышанные им истории, пове-

вержение и за него готовы были его благодарить» [Вигель: II, 1183]. По мнению Бутенева, «что бы ни говорили о душевных качествах Константина Павловича, но отказаться от обладания 50 миллионов народа <...> — не может идти ни в какое сравнение с эффектными отречениями Карлов, Филиппов и прочих коронованных глав, за ним следовавших» [Бутенев: 20]. В начале 1830-х гг. предпринимались попытки ознакомления широкой аудитории с «правильной» «героической» версией, например, в церковных проповедях, произносимых в день годовщины восшествия на престол государя [Иннокентий: 8–9]. Подчеркнем одну особенность: в приведенных нами фрагментах «единственная минута» — это история об отречении от престола. В своей практике Жуковский сделал шаг вперед: он представил как великую минуту поведение нового императора 14 декабря, несмотря на кровопролитие на Сенатской площади. Два события у поэта не были противопоставлены, в отличие от барона Велио, писавшего: «Великодушное отречение Николая Павловича могло обойтись дорого его народу, если бы не спасло дело его мужество» [Велио: 543].

дал в письме к прусской принцессе Луизе о героическом поведении императора перед народом на Сенной площади:

Но эти мрачные чувства проясняются иногда перед светом особого рода: **я должен рассказать вашему высочеству одну сцену, которая по истине редко встречается в истории и которая не будет изложена в газетах так, как следовало** <...> он <Николай> обнажил голову, обернулся к церкви и перекрестился. Тогда вся толпа, по невольному движению, падает ниц с молитвенными возгласами. Император уезжает, и народ тихо расходится, наставленный и проникнутый сознанием своего поступка. **Минута единственная!** И с этой минуты все пришло в порядок [Жуковский 1878: V, 487–488].

Истинный историк — это поэт, в поступках монарха постигающий минутные проявления Промысла. Жуковский — это «историк-поэт», пишущий текст о Николае, «государе-поэте». О чем должен рассказать этот текст?

В 1827 г. Жуковский написал стихотворение, посвященное Гете:

Творец великих вдохновений!
Я сохраню в душе моей
Очарование мгновений,
Столь счастливых в близи твоей!
[Жуковский: II, 252]

Эта строфа, по нашему мнению, — ключ к историческим описаниям Жуковского как личной памяти о высоких, но не известных для других, минутах жизни императора.

Такая манера исторического повествования была подготовлена поэтическим творчеством Жуковского. В послании 1814 г. «Императору Александру» уже присутствуют все главные черты, характерные для прозаических описаний деяний Николая I. Сравним:

Что скажет лирою незнаемый певец?
Дерзнет ли свой листок он в тот вплести венец,
Который для Тебя Вселенная сплетает? <...>
Кто славных дел Твоих постигнет красоту?
[Там же: I, 366]

Ответ Жуковского очевиден: именно поэт может постигнуть красоту «славных дел»; и все послание — это тот особый «листок», который он вплетает в общую книгу истории. Поэт в послании становится единственным созерцателем молитвы Александра за русский народ, как позднее Жуковский будет считать себя «единственным» свидетелем истинных поступков Николая и его семьи. И столь частотная для исторических описаний 1825–1850 гг. формула, описывающая наличие/отсутствие у монарха дара решительности в роковую единственную минуту, имплицитно также намечена в послании 1814 г.:

Се место, где Себя во правде Он явит,
Се то судилище, где миг один решит:
Не быть иль быть Царям

[Жуковский: I, 373].

Ключевым текстом, определившим историческую оптику Жуковского, стала созданная в 1821 г. трагедия «Орлеанская дева» Главный конфликт трагедии — это потеря и восстановление трона. Приведем важный для нашего сюжета диалог:

Агнеса:

Войди в себя; будь снова **твердый** муж;
С **величием** беде **противостань**,
И победишь... <...>

Король (в глубокой задумчивости):

Но с дикостью бунтующей не слажу;
Не мне мечом кровавым разверзать
Себе сердца, запершиися в злобе. <...>

Дюнуа <в конце сцены. — Т. Г.>:

Не Англия с бунтующем бургундцем —
Твой робкий дух тебя сгоняет с трона.

Природный дар французских королей

Геройство — ты ж не мужем быть рожден

[Жуковский 1959–1960: III, 34–37].

Интересно, что именно благодаря великому князю Николаю Павловичу «Орлеанская дева» была, по-видимому, полностью напечатана (см. подробнее: [Киселева 2002]). В ситуации 1825 г. Николай I оказался антиподом короля из «Орлеанской девы», трагедия, благодаря его действиям, преобразилась в триумф. Русский государь вел себя как истинный монарх, который заслужил предоставленный ему престол, проявив качества героя: твердость и решительность в подавлении бунта. Литературные размышления на историческую тему формировали общественно-политическую оценку и риторику Жуковского.

Приведем строки из наставительного письма поэта к Константину Николаевичу от 29 декабря 1840 г.:

Сравнение, мною употребленное в письме моем, напомнило вам о *Геркулесовом выборе* <...>. В этой аллегории выражается та **решительная минута**, в которую человек, готовый вступить на поприще деятельности <...> должен вдруг обозреть и все свои *знания* и все свои *силы* и, разглядывая вдали ту *цель*, к которой ему на земле предназначено стремиться, должен *избрать* ту *дорогу*, которая вернее приведет его к сей предназначенной цели. <...> помните, что вам надобно будет иметь силы Геркулесовы **в минуту решительного выбора**. Итак готовьтесь заранее, дабы не найти себя слабым и безоружным в ту минуту, когда потребуется выступить в трудную битву, которой развязка должна быть — или заслуженная слава, или заслуженное посрамление [Жуковский 1878: VI, 347–348].

То сокровенное, что поэт явно намеревался донести до великого князя, свелось к уже хорошо известному старому: «минута Константина» под пером Жуковского превратилась в «минуту Николая» (хотя речь шла совсем не о принятии власти).

В 1825–1826-х гг. «первая минута» не представлялась Жуковскому тогда исключительной, «единственной» в истории николаевского царствования, она служила лишь залогом «других минут», разных, но также неповторимых, в которые монарх (и его преемник) проявит себя в иных великих ипостасях. Не случайно в конце письма к Тургеневу от 16 декабря 1825 г. Жуковский подчеркнул, что император «может твердою рукою схватиться за то сокровище, которое Промысел открыл ему в роковую минуту. <...> Будем надеяться лучшего» [ПЖТ: 211].

§ 3. В ожидании «другой минуты»: диалог поэта и царя

Есть день в году, во дне есть час,
В часе *заветное мгновенье*,
Когда мы чей-то слышим глас
И чьем вокруг себя движенье
Невидимых, бесплотных сил.
Как цепь чудесных снов златая,
Незримое, кругом летая,
Нам веет жизнью... Чьих-то крыл
Мы чувствуем прикосновенье:
С ним в душу свет и теплота! —
И в это дивное мгновенье
Земным доступна *высота*. <...>
Стерегижь сей миг небесный
Под грозой земных сует:
Миг летучий, миг чудесный —
Стереги, молодой поэт!

[Глинка]

Двухлетний период с 1826 по 1828 гг. — время интенсивной подготовки Жуковского к своей должности наставника наследника престола. В мае 1826 г. поэт уехал для поправки здоровья за границу, где пробыл до октября 1827 г. С января 1827 г. он начал работать над «Запиской о Н. Тургеневе». Жуковский пытался доказать невиновность перед законом заочно осужденного «декабриста без декабря».

Вся история заступничества за Н. Тургенева²³ — это диалог о праведном и милостивом государе. В течение 1826–1830 гг. императору было

²³ Н. Тургенев не предстал перед судом, так как с апреля 1824 г. был за границей и не вернулся по требованию Следственной комиссии в Петербург. Неявка в суд была расценена как подтверждение его вины. Согласно приговору, Н. Тургенев был признан виновным по первому разряду, приговорен к смерт-

представлено несколько оправдательных записок и писем²⁴. Все сочинения можно разделить на две группы, в зависимости от избранной тактики ведения диалога с царем.

К первой группе относятся тексты, авторы которых, анализируя отчет Следственной Комиссии, пытались доказать, что Н. Тургенев по закону не должен быть осужден. Вторую группу составляют письма к Николаю I с просьбой об оказании монаршей милости Н. Тургеневу. Соответственно, Николаю Павловичу предлагали одновременно две различные²⁵ роли — быть «справедливым государем» и/или «милостивым монархом».

26 марта 1826 г. А. Тургенев писал императору: «Оправдание его в руках вашего императорского величества. <...> **Милосердие, нет, справедливость** сего требует» (цит. по: [Дубровин: 63]). Жуковский в черновике «Записки о Н. Тургеневе» (июль 1827 г.) также отказался от «милости» и требовал от государя исключительно «правосудия». Он резюмировал: «Для осуждения нет повода, для оправдания есть повод — следственно, снять осуждение» [Жуковский: XIII, 287]. Однако в представленном на высочайшее рассмотрение варианте сочинения (конец 1827 г.) поэт уже менее категоричен. Ср. слова из последнего абзаца:

Итак, по обстоятельствам нельзя уже снять с него приговора [по крайней мере, теперь нельзя], то сама **справедливость требует облегчить его положение** <...>. Если государь окажет ему милость, повелев миссиям не тревожить

ной казни, замененной после монаршей конфирмации вечной каторгой. См. об этом эпизоде подробнее в нашей статье «Способы трансформации фактов в “Записке о Н. Тургеневе” В. А. Жуковского» [Гузаиров 2004].

²⁴ В 1826 г. — две записки самого Н. Тургенева и письмо А. Тургенева, в 1827 г. — письма Н. Тургенева, Г. Разумовской, Жуковского, который также представил отдельную «Записку». В январе 1830 г. предпринимается еще одна попытка — письма А. Тургенева, Жуковского (аудиенция с царем в апреле); Н. Тургенев составил третью оправдательную записку.

²⁵ О соотношении милости и правосудия см. в статьях Ю. М. Лотмана [Лотман 1995] и В. Э. Вацуро [Вацуро]. М. С. Неклюдова подчеркивает: «Апелляция к милости <...> призвана напомнить государю о личной, иррациональной природе его отношений с каждым членом дворянского сословия, и в то же время означает отказ от более законных претензий» [Неклюдова: 210]. Ср. письмо Н. Тургенева к Николаю I в апреле 1827 г.: «Пред Вашим Императорским Величеством **я виновен**. К Вам, **Всемилоостивейший** Государь, и обращаюсь. <...> Приношу, Государь, к Вашему трону мою исповедь <...>. Судьи мои те, кои могли поставить меня наряду с изменниками и убийцами, не примут ее. Но Вы, Государь, **судья моих судей**, обратите на нее взгляд внимательный. <...> Екатерина сказала: лучше простить десять виновных, чем наказать одного невинного. **Я невинен**, а Вы на престоле Екатерины» [Тургенев 1827: 30; 32]. Тургенев признал себя виновным за недоверие к государю-человеку и невинным перед государем-судьей. Такая тактика была рассчитана на попадание хотя бы в одну мишень: монарх как человек помилует осужденного или монарх — гарант закона оправдает его.

его нигде в Европе вне России, то сия **милость будет в то же время и справедливостью** [Жуковский 1902: X, 23].

Характерно, что Жуковский, отказываясь от «правосудия», смягчил тургеневскую идею. Теперь «справедливость» не требует «оправдания», она предполагает *лишь* облегчение участи осужденного.

В письме к Николаю в апреле 1827 г. Жуковский сделал попытку разделить понятия «правосудие» и «милость»:

Государь, снова прошу о Николае Тургеневе, но уже **не о его оправдании** <...>. Прошу ваше величество **об одном милосердии**. <...> Младший <С. И. Тургенев. — Т. Г.> потерял разум: он умер в Париже на руках у меня и у старшего брата. Государь, сие несчастное сумасшествие, сия преждевременная смерть суть следствия вызова, сделанного по подозрению, оказавшемуся несправедливым: они дают **мертвому право на милосердие ваше** к живому осужденному (цит. по: [Дубровин: 66–67]).

Здесь Жуковский обратился к иной традиционной формуле — апелляции к христианской каритативной этике (см.: [Долинин]). Основанием для подобного обращения послужила трагическая судьба младшего из братьев Тургеневых. На изменение тактики ведения диалога с монархом мог оказать влияние и другой факт. Весной 1827 г. по приказу Николая I из тюрьмы был освобожден Тимотеус фон Бок. Факт его умопомешательства был известен. Как установила М. Салупере, в октябре 1820 г. в Берлине великий князь Николай Павлович намекнул Г. Боку о сумасшествии его брата; эту встречу, кстати, организовал Жуковский (см.: [Salupere]). Милость Николая I, оказанная Т. фон Боку, продемонстрировала способность царя прощать политических преступников, поступать по закону христианской каритативной этики.

Николай I обладал репутацией государя, уважающего закон и правосудие (см.: отчеты Бенкендорфа [Россия под надзором]). Работа по кодификации законов всеми воспринималась положительно. Однако в понимании проблемы «закон и частный человек» между поэтом и царем/властью существовали принципиальные отличия.

1 ноября 1827 г. после встречи с Д. В. Дашковым (будущим министром юстиции), который ознакомился с «Запиской о Н. Тургеневе», Жуковский записал в дневнике:

Дашков сказал: нельзя жертвовать обществ<енным> благом частному, хотя бы оно было основано и на несправедливости. Не должно признаваться в несправедливости, оказанной лицу частному.

Затем поэт комментирует:

Это правило вредное. Надобно, чтобы правительство признавало выше всего справедливость. Благо общее, ничем не определенное, существующее в идее, более или менее несправедливое, может ли быть предпочтено справедливости частной, определенному, верному [Жуковский: XIII, 297].

Для Жуковского ценность частного человека, его настоящее положение важнее абстрактного понятия об общем будущем благе. Забота монарха должна заключаться в справедливом отношении к каждому подданному, его сохранении и защите. Показательно, что в 1829 г. поэт развил свое рассуждение о пользе истории, выраженное в письме к царю в 1826 г., и ввел в статью для «Собирателя» новый отрывок:

... уважай и личную безопасность и права и мысли каждого, и охраняй их законом от самовластия исполнителей закона, кои под видом угождения воле царя утесняют человечество в подданных [Жуковский 1902: X, 24].

Поэт также изменил выражение «свобода и порядок» на «свобода и **нерушимость** законов». Выдвижение новых требований к монарху стало следствием соприкосновения Жуковского с реальностью николаевского царствования. Здесь, кроме историй заступничества за Пушкина, Вяземского, Н. Тургенева, можно указать также на ходатайство поэта перед императором за дарование права для А. Тургенева на свидание с осужденным братом за границей²⁶.

В статье «Польза истории для государей» (1829) Жуковский также отказался от своей формулы, которую предложил императору в программном письме. «Правосудие, **ибо** в нем милосердие» [План: 252] — в 1826 г. концепты были взаимозависимы друг от друга, переплетены между собой причинно-следственной связью. Монарх-судья подчинялся монарху-человеку. Вяземский вспомнил очень показательный диалог того времени между поэтом и Николаем I:

Вскоре по учреждении следственной комиссии по делам политических обществ Жуковский спрашивал государя: “Нужно ли Николаю Тургеневу, находящемуся за границую, возвратиться в Россию?” Государь отвечал: “Если спрашиваешь меня как императора, скажу: нужно. Если спрашиваешь меня как частного человека, то скажу: лучше ему не возвращаться” [Вяземский 1988: 304].

Однако в 1829 г. стало совершенно очевидно: Н. Тургенев не будет оправдан по закону, как того добивались Жуковский и А. Тургенев. Приходилось лавировать: формулировать иначе или выдвигать другие идеи. В ста-

²⁶ Поэт писал императрице в 1827 г.: «Он <А. Тургенев> не сможет навестить этого последнего <Н. Тургенева>, чтобы не навлечь на себя гнева Его Императорского Величества; <...> он <...> просит дозволения хоть на минуту увидеть этого брата <...> Неужели эта просьба будет отвергнута Нашим великодушным Императором...» [Жуковский 1827]. Разрешение не было дано. Позднее А. Тургенев нарушил запрет императора, 8 февраля 1828 г. он увиделся с Н. Тургеневым в Англии. В 1831 г. государь потребовал объяснения от поэта, который встретился с А. Тургеневым, вернувшимся из-за границы в Петербург. Жуковский подробно описал причины приезда своего друга и ручался перед императором в том, что «А. Тургенев не примет и не способен принять участия ни в чем вредном для России» (цит. по: [Модзалевский 1926: 154]).

ть для «Собирателя» поэт представил старое правило из письма 1826 г. в измененном, дополненном виде:

Верь, что власть происходит от Бога, но верь сему не для того, чтобы поставить себя выше суда людей, а для того, чтобы подчинить себя верховному суду Бога [Жуковский 1902: X, 24].

Монарх должен подчинить себя всецело «высшим», божественным законам самодержавной власти, которые, по сути, необходимо еще определить и разъяснить (настоящему и будущему) царю. Этой задаче и посвятил Жуковский свою педагогическую деятельность на посту наставника наследника престола.

По возвращении в Россию Жуковский в декабре 1827 г. передал Николаю Павловичу «Записку о Н. Тургеневе», а также письма самого декабриста и гр. Г. Разумовской. Письмо Г. Разумовской к Николаю I поэт сопроводил своим личным письмом к государю:

Минута, в которую открывается невинность или в которую хоть часть вины снимается с осужденного, есть **минута лучшая царей**; ибо **в такую минуту** и узнается и радуется **всемогущество, которого истинное имя есть милосердие** [Разумовская: 520].

На первый план, таким образом, выходит не «героическая», а «другая истинно великая минута» — монаршая милость. Трагические события 14 декабря, с точки зрения Жуковского, дали возможность Николаю проявить две черты идеального монарха: твердость и милосердие.

Итак, милость является здесь главной чертой просвещенного монарха. В записке об амнистии декабристов поэт писал:

Государь! произнесите амнистию! Обрадуйте ваше сердце, Россию и Европу! Я переносюсь мысленно **к первой минуте** вашего царствования, к **этой удивительной минуте, которой нет примера ни в какой истории** <...> Иногда <...> думаю с восхищением о том действии, какое произвела бы сия амнистия <...>. То была бы **другая истинно великая минута** вашего царствования, столь уже богатого славою. **В первую минуту вы явились нам мужественным царем** — мы были изумлены вашим твердым характером. **В сию другую вы явитесь ангелом милости** — все сердца полетят с благодарностью и любовью... (цит. по: [Дубровин: 73–74]).

По сути, поэт составил программу поведения для императора, апеллируя к представлению об истории как памяти о «единственных минутах». В этом сценарии минута царской милости, как и «героическая», оказывается ключевой, ибо должна явить для подданных другую ипостась императора. По этой причине объявление амнистии, по мнению Жуковского, должно было стать обязательным вторым шагом царя.

Эти идеи еще яснее были проговорены в письме к императору из Златоуста от 8 июня 1837 г. с просьбой об облегчении участи декабристов. Жу-

ковский подчеркнул, что именно государева милость, «минута лучшая царей», придает сакральный характер монаршей власти, и это ставит «минуту милости» неизмеримо выше «героического» мгновения:

Заговор <...> задушен был в самую первую минуту героизмом царя, и эта минута нас познакомила с нашим государем. <...> Теперь Россия вас знает и **по первой героической минуте** вашего царствования и по многим другим, еще более героическим; Россия знает, какую силу духа можете вы раскрыть в те минуты, когда надобно поплатиться собою; <...> **Всепрощение в сию минуту** будет самым произвольным действием самодержавия, ему одному приличным и тем именно, по коему оно приобретает **характер божественности**. <...> **Другой подобной минуты не будет** (цит. по: [Дубровин: 101–103]).

После получения повеления императора, в котором он объявил послабления наказания бывшим мятежникам, Жуковский отправил 24 июня 1837 г. письмо к императрице. Поэт изложил квинтэссенцию концепции монарха в характерной для него идеостилистике:

Вчера была **одна из счастливейших минут** моей жизни <...> какое еще большее счастье увидеть его благодную царскую душу во всей естественной красоте ее. **Такие минуты, конечно, принадлежат к лучшим в жизни**. <...> божественное очарование всемогущей благодати, которая одним словом, **в одно мгновение**, может животворить, воскрешать, из несчастья делать счастье и безнадежность претворить в утешение — оно принадлежит только царям и царским детям; <...> всемогущество *благодати* есть то именно и то одно, что выводит царей из ряда человечества. <...> это их верховная привилегия, это та ступень, на которой они стоят между людьми и божеством [Жуковский 1878: VI, 316–317].

Представление о государе-герое постепенно вытеснялось размышлениями Жуковского о монаршей милости, о человеческой природе государя в целом. Не случайно, что поэт снова ходатайствовал перед цесаревичем и Николаем I за осужденных декабристов в памятные дни военного праздника — Бородинской годовщины 1839 г.

Однако в 1840-е гг. Жуковский окончательно убедился в том, что «вторая минута» безнадежно опаздывала, и мотив милости как «другой истинно великой минуты» из его описаний николаевского царствования исчез. Вместе с тем, поэт не переставал рассуждать об историческом значении монарха-героя и монарха-человека — эту тему он развил в сочинении «Пожар Зимнего дворца».

Эту статью можно условно разделить на две части: первую, в которой автор осмысляет русскую историю, и вторую, где дает свою хронику события 1837 г. В первой, историософской, части поэт охарактеризовал живших во дворце монархов, выделив для каждого главный момент их царствования. Таким событием, в описании Жуковского, для Екатерины стало начертание Наказа, для Павла — русско-французская война, для Алексан-

дра — победа в Отечественной войне и поведение царя во время наводнения 1824 г.

Автор подчеркнул, что Александр «в эту роковую минуту <наводнения — Т. Г.> <...> принадлежал к лучшим из всех украшавших землю созданий» [Жуковский 1902: X, 65]. Сравнение двух редакций сочинения²⁷, однако, указывает на колебание Жуковского в аргументации своей позиции:

И в народе, одаренном памятью сердца, живо предание о сих прекрасных днях Александра, быть может, лучших в жизни [Его не по блестящим делам царя, а по **тайным человеческим чувствам**, и если История, провозглашающая только главное мира сего, скажет о них не громко то есть другое, высшее судилище, пред которым и **тайные страдания души также имеют свое величие и свою знаменитость**] [Пожар 2: 12].

Во второй редакции автор выделил этот отрывок рамкой и зачеркнул его. В печатной редакции 1883 г. текст был восстановлен, и в таком виде статья воспроизводилась и при последующих перепечатках. Публикаторы, конечно, исходили из принципиальной важности данного пассажа для концепции Жуковского: душевные порывы монарха перед лицом неизбежной катастрофы, несмотря даже на отсутствие героического ореола и величественных поступков, дают ему право на место в истории. По глубокому убеждению поэта, деяния национального масштаба и частные чувства монарха в равной мере имеют ценность для Верховного историка, т.е. Бога. Указывает ли в таком случае внесение соответствующей правки на резкое изменение мнения Жуковского, произошедшее между первым и вторым вариантами статьи? Ответ на этот вопрос мы дадим ниже.

В статье «Пожар Зимнего дворца» Жуковский коснулся и царствования Николая I. Самым великим мгновением к 1837 г. для поэта оставалось поведение императора во время восшествия на престол. Этот отрывок также вызвал у автора сложности. Рассмотрим правку поэта в первом варианте:

Из дверей Зимнего Дворца Император Николай Павлович вышел на площадь кипящую народом в [ту минуту когда **возмущение против Него вооружилось; Он вышел один прямо ему навстречу и эта одна, первая минута Его Царствования**] <первую и самую решительную минуту своего царствования и эта минута> как долгие годы познакомила Россию с новым ея Императором и Европу с <достойным> преемником Александра [Пожар 1: 11].

²⁷ В январе 1838 г. поэт отдал текст в цензуру. 31 января 1838 г. от министра двора князя Волконского пришел ответ, запрещавший публикацию. Эта статья не была включена и в последнее прижизненное собрание сочинений Жуковского. Впервые «Пожар Зимнего дворца» был издан в 1883 г. к столетию со дня рождения поэта отдельной брошюрой. В примечании Я. Грот отметил: «Эта записка найдена мною, в двух экземплярах, между бумагами П. А. Плетнева, с своеручными поправками Жуковского и с такою же подписью полного его имени» [Пожар 1883: 16].

В отредактированном варианте поэт удалил исторические подробности 14 декабря, хотя они и возвеличивали образ монарха²⁸. Как свидетель бунта, он хотел бы передать реалии того дня, но как идеолог он опасался обращения к таким историческим деталям. Характерно использование ставшего знаковым сочетания — «первая решительная минута».

Далее поэт в краткой форме делится своими воспоминаниями о дне 14 декабря, который он провел во дворце:

[Нам памятно, какое зрелище в день сей представило[сь] <собрание> чин[ам]<ов> Империи [собранным] <соединившихся> в залах Дворцовых для молитвы <за> воцаряющегося Государя, памятна и мертвая тишина тогда оцепенявшая [сего] <сие> блестящего многолюдства, и мрачность лиц столь разительных при блеске одежд торжественных и шопот [вестей] тревожил и тяжкая безызвестность о Государе, который с утра до приближения ночи простоял в виду бунтовщиков на ружейный выстрел от их фронта и общее движение всех, когда узнали что Государь возвратился, что бунт уничтожен и на конец всего памятнее та минута, в которую Он к нам вышел, рука об руку с Императрицею, Он, с каким-то ни [кем] <когда дотеле — на полях > невиданным на лице Его напечатлением самобытн[ым]<аго> вдруг пре/i -обр[аж/щ — ением] <Царского — на полях > величества, Она с глубокою преданностию <в волю — на полях > [к] Промысл[у] <a> с [величеством] смиренно[й]<ю> возвышенност[и]<ью> <над судьбою> и с удивительно выра[зительностью]<жением> всего, что в этот день перешло через ея душу, и между ими Наследник тогда еще младенец, ясный и беззаботный как надежда] [Пожар 1: 7].

После внесения исправлений в первый вариант Жуковский зачеркнул весь рассказ, содержащий реальные подробности события, но, несколько дней спустя, во втором варианте восстановил этот отрывок полностью. Поэт воспроизвел карандашом данное описание не без внутренней борьбы, на что указывает то обстоятельство, что фрагмент помещен на полях, т.е. за рамкой основного текста.

²⁸ Не только Жуковский вспомнил о событиях 1825 г. при описании пожара дворца. Гр. А. Ф. Орлов писал к Д. П. Татищеву, послу при Венском дворе: «При этом бедственном событии, Государь наш снова явился таким, каким я всегда видел его во всех самых тяжких обстоятельствах, исполненным твердости и истинного величия души, таким же, каким, двенадцать лет тому назад 14 декабря, он был на площади перед Сенатом. По истине, не в дни счастья или каких-нибудь торжеств, а в минуты испытания открывается, как велика наша Россия» [Рассказы: 1181]. В рассказе Орлова минута испытания, благодаря присутствию и личным качествам императора, преобразилась «в ту торжественную минуту, <...> все находившиеся тут были тронуты до глубины души благоговейным смирением, выразившимся во всех чертах нашего Монарха» [Там же: 1182]. Подчеркнем еще раз: для авторов абсолютным мерилom величия монаршей души являлось поведение государя в кризисной ситуации. (Риторике текстов, созданных по поводу пожара Зимнего дворца, частично посвящена статья Т. Д. Кузовкиной «“Люди горели в удивительном порядке” (к формированию официального языка николаевской эпохи)» [Кузовкина]).

Поставим теперь вопрос: есть ли связь между вставкой «николаевско-го» эпизода во втором варианте и исключением высокой «александровской» оценки? Рассмотрим эти два места из сочинения «Пожар Зимнего дворца» с привлечением дополнительных источников — письма поэта к цесаревичу от 16 мая 1848 г., а также его статьи «О происшествиях 1848 г.», которую автор планировал включить в том своей прозы, готовившийся весной 1850 г.

Указанное письмо к наследнику содержит повторение мысли, высказанной в «александровском» эпизоде статьи «Пожар Зимнего дворца» (это повторение показывает, как важно было Жуковскому донести эти мысли до царственных адресатов и до читателей):

Но для подобных ему действователей на сцене мира есть **другой** историк примиряющий и неподкупный, **историк души человеческой**, для которого нет народов и царств, для которого существует только одна душа бессмертная, который судит не дела, столь много зависящие от внешнего, а волю, служащую тайным источником дел. Этот историк есть всезнающий Бог [Жуковский 1885: VI, 552].

В статье «О происшествиях 1848 г.» Жуковский, пытаясь смягчить критику в адрес прусского короля, подчеркнул «чист[ую], высок[ую], любящ[ую], верующ[ую] душу Фридриха Вильгельма²⁹». Такой взгляд мог вызвать непонимание. Сербинович, который цензурировал том прозы, отметил:

²⁹ Положительная оценка Жуковским фигуры прусского короля была подготовлена, с одной стороны, взаимной перепиской, а с другой — трагедией «Орлеанская дева». Обратим внимание на слова Агнесы, сказанные ей слабому королю: «О! верь в себя! / Судьбою не напрасно <...> / Ты на престол нежданный возведен; / **Твоя, твоя прекрасная душа / Есть избранный целитель тяжких ран, / Отчеству раздором нанесенных**» [Жуковский 1959–1960: III, 35]. По отношению к Фридриху Вильгельму IV Жуковский выступил в роли героини своей трагедии, упрекая короля за nepозволительную нерешительность духа, но подчеркивая его прекрасную душу. В отличие от героев своей трагедии, Жуковский, особенно в 1840-х гг., был уверен: высокие человеческие качества ставят (хотя и слабого) монарха наравне с государем-героем, способным отстоять силой свою власть. Такой взгляд на монарха, как представляется, мог также сложиться вследствие осмысления коллизии 1825 г. Так, отец Хомякова писал из деревни к сыну в Париж: «Государь превосходит всякие ожидания и что **одна лишь его доброта, мягкость и сердечность способны превзойти его деятельность**» [Письмо к Хомякову: 124–125]. 25 ноября 1846 г. Жуковский писал из Франкфурта на Майне Фридриху Вильгельму: «...я размышлял о том чудовищном веке, с которым, начиная с **этого единственного в истории момента**, придется бороться королю <...>. Жизнь государей, настоль же подчиняющихся высшей справедливости, как Вы, **всегда будет сплошное торжество, даже среди неудач, неурядиц, волнений**, разрушающих строй их времени» (цит. по: [Фомин: 36]). Поэт использовал созданные для Николая I идеологические модели для описания другого монарха. Историческое мышление Жуковского по своей природе литературно и динамично.

Третья часть на стр. 217–223, оправдывающая действия Прусского Короля [пред Берлинским мятежом и во время самого мятежа,] должна быть признана [несвоевременною] подлежащею исключению [Сербинович].

На наш взгляд, такой отзыв цензора обусловлен не только политическими обстоятельствами. Жуковский затронул некоторые фундаментальные понятия о монархе, что и привело цензора к решению исключить эту часть.

Отметим, что в статье «О происшествиях 1848 г.» Жуковский снова обратился к рассказу о придворных перипетиях конца 1825 г. — о кончине Александра и о присяге Николая Константину. Именно эти эпизоды, по мнению Сербиновича, — «самые трогательные». Как мы хотим подчеркнуть, они развивали героический сценарий николаевского царствования.

В процессе правки «александровского» отрывка в «Пожаре Зимнего дворца», по нашему мнению, шел поиск ответа на вопрос: может ли в рамках официальной идеологии быть принята точка зрения, согласно которой монарх имеет право войти в историю не только великими поступками, но и своими душевными человеческими порывами? В 1838 г., в момент подготовки к публикации статьи «Пожар Зимнего дворца», Жуковский пришел к отрицательному ответу: официальная риторика разрабатывала исключительно героический образ монарха (см. тексты, освещавшие открытие Александровской колонны в 1834 г.). Такая позиция поэта оказалась дальновидной, что и подтвердили поздние замечания Сербиновича по поводу оправдания действий прусского короля, которых (заметим) сам автор также не одобрял.

Как мы полагаем, в окончательной редакции «Пожара» существует взаимосвязь между правкой «александровского» и «николаевского» фрагментов. Жуковский осуществил тактический ход: он готов был пожертвовать одной из главных своих идей и сполна отработать героический сценарий для Николая. В первое время после пожара автор видел свою задачу не в развитии, а в укреплении существующих идеологием, а также веры народа в силу императорской семьи, поэтому свою концепцию монарха предполагал в статье упростить, сделать односторонней и в целом построить свое повествование согласно канону.

Таким образом, в текстах Жуковского второй половины 1830-х гг. «героическая минута» жизни монарха, вытеснив иные «минуты», действительно стала «единственной» и «неповторимой».

Перед лицом революционных событий 1848 г. поэт считал своей обязанностью возвысить образ русского царя, последнего истинного защитника самодержавия. Именно тогда он обратился и к описанию тех мгновений, которые раскрывали человеческие стороны личности царя. Теперь «человеческая минута» — вместо «минуты милости», но наравне с «единственной решительной минутой» — должна была, по замыслу Жуковского, одухотворить образ императора Николая в глазах подданных и Европы.

В статье «Русская и английская политика» 1850 г., где сравнивается два типа правления³⁰, Жуковский описал поведение Николая во время смерти его брата Михаила:

То, чему я был свидетелем <...> не увидит история. <...> Я стал там у входа на лестницу, чтобы увидеть государя, и как повернулось в груди моей сердце, когда я увидел его, бледного, со впалыми щеками, идущего тихо, усталым шагом. Я увидел не торжествующего, полного чувством новой славы <успешная венгерская кампания. — Т. Г.>, а бедного мученика, в котором скорбь по умирающему брату умертвила всякое другое чувство. <...> Вечером этого дня я видел государя **в минуту его отъезда** <...> он в эту минуту показался мне как будто осиротелым. Что чувствовало его бедное сердце в уединении этого ночного мрака <...>. Жаль, что ни один из наших упорных порицателей не видел в это время нашего государя; он получил бы верное понятие не только о его нравственном характере, но в то же время и о необходимом характере его политике, в которой **чисто-человеческое** и **святое нравственное** не подавлено расчетами так называемой государственной пользы... [Жуковский 1902: XI, 42–43].

Истинная история государства, по Жуковскому, — это не славные страницы политических достижений и побед, а те незаметные для большинства, кроме поэта (и Бога), мгновенья, в которые проявляется душа его правителя. Поэтому главной задачей для монарха, с точки зрения Жуковского, и является развитие в себе человеческих чувств.

16 февраля 1847 г. Жуковский, подробно описав Александру Николаевичу смерть дочери Рейтерна, подчеркнул:

³⁰ Россия и Англия противопоставлены Жуковским по признаку наличия или отсутствия корысти и высоких идеалов. Поэт категоричен: «Несколько торгашей начнут, считая свои барыши, благословлять лорда Пальмерстона, который <...> спокойно будет продолжать бесчестить Англию грабежом и развратом, и бесстыдным ниспровержением всего, на чем основан общественный союз народов» [Жуковский 1902: XI, 41]. Возможный источник рассуждения поэта — статья Архенгольца «О политических поступках Англии», опубликованная в «Вестнике Европе» за 1808 г., когда редактором журнала был Жуковский. Автор писал: «Британские министры в начале нынешнего года не имели времени думать ни о внутреннем состоянии своего отечества, ни о союзниках Англии, ни о политике Европы; важнейшие заботы занимали их деятельность: заботы о сохранении первых государственных мест для себя и доставлении выгодных людей, приверженным к их пользе. Давно не видали между Министрами Британскими таких интриг, соединенных с таким безстыдным пренебрежением обязанностей Патриота, с таким возмутительным эгоизмом. Отечество, Европа и целый мир забыты» [Архенголец: 155]. При написании статьи поэт неосознанно, возможно, актуализировал ранний текст. Изучение «Вестника Европы» и других (особенно иностранных) журналов как источника для формирования исторических взглядов (и идеостилистики) Жуковского является одним из актуальных вопросов.

...мне хотелось на минуту перевести вас из царского дворца под кровлю смиренного инвалида, от житейских величий к святилищу смерти, от многообъемлющих дел государственных к тесным [по-видимому] делам души человеческой <...> с тех пор как мир стоит, еще ни одна душа человеческая не уничтожилась; <...> **что была она в минуты испытаний житейских и в полную откровения минуту смерти, то и есть ее история истинная, написанная рукою Вечного бытописателя** [Жуковский 1885: VI, 521–522; 525].

Характерно, что в конце 1840-х гг. Жуковский твердо убежден, что познать душевную красоту наследник может только через приобщение к великим мгновеньям жизни частного, неизвестного, простого человека. Задача развития души должна вывести цесаревича из стен Зимнего дворца, где нельзя увидеть истинных проявлений человеческих чувств. Такая оценка Жуковского во многом была подготовлена его тревожными наблюдениями над влиянием придворной атмосферы на великого князя в годы его обучения. Поэтому же в статье «Русская и английская политика» 1850 г., как и в элегии 1819 г. «На кончину Ея Величества Королевы Виртембергской» поэт, описывая горе царственных особ, стремился подчеркнуть в них душевную глубину и искренность переживаний частного человека³¹.

Таким образом, взгляд поэта на «человеческие мгновенья» царской души оставался сложным и противоречивым. С конца 1840-х гг. Жуковский

³¹ Отметим склонность Жуковского к «коллекционированию» и осмыслению последних минут жизни, в которых проявляется величие души (не обязательно монарха). См. описание смерти Карамзина: «Но и он сам уже был на краю гроба, когда ему сказали, что и Государыня Елисавета Алексеевна скончалась. Я желал бы, но не умею, описать его в эту минуту; желал бы найти выражение для наименования того набожного, покорного (уже потухающего) взгляда, который он, не сказав ни слова, поднял к небу, как будто провожая туда милую душу, и того движения руки, которым он как будто передавал ее Всевышнему» [Жуковский 1902: X, 50]. См. также рассказ о смерти Пушкина: «Никогда на этом лице я не видел ничего подобного тому, что было на нем в эту первую минуту смерти. <...> какая-то глубокая, удивительная мысль на нем развивалась, что-то похожее на видение, на какое-то полное, глубокое, удовлетворенное знание. Всматриваясь в него, мне все хотелось у него спросить “Что видишь, друг?” И что бы он отвечал мне, если бы на минуту мог воскреснуть? **Вот минуты в жизни нашей, которые вполне достойны названия великих**» [Жуковский 2001: 83]. Поэт писал о смерти прусского короля в 1840 г.: «**Как праведник** кончил дни свои Фридрих Вильгельм III <...>. Взгляд его на прошедшее был безмятежен: там перед глазами его простиралась долголетняя жизнь **без пятна и упрека**; <...> Приготовясь молитвою к сей великой минуте, как бы к Святому Причастию, и дети и внуки стояли на коленях перед постелью умирающего» [Отрывок: 191–192]. Перед лицом смерти Жуковский (и это естественно) идеализировал монарха-человека, хотя репутация прусского короля была не столь однозначной. (Смирнова-Россет передает в своих записках мнение Пушкина: Быть может, это великий король, но это не великий человек, не великий характер» [Смирнова-Россет 2003: 285]).

стремился сознательно акцентировать, по-видимому, ориентируясь на внешнего читателя, «чисто человеческое и святое нравственное» в императоре и его семье (напомним, что статья «Русская и английская политика» была опубликована в Пруссии, но запрещена в России). Вместе с тем, как показывает его письмо наследнику от 16 февраля 1847 г., у него существовали сомнения относительно возможности действительно пережить «человеческие минуты» в стенах царского дворца.

Жуковский представил царствование Николая как историю «минут». Первая — это «единственная минута» восшествия императора на престол. Эта «минута» дала поэту выгодную призму для сравнения русского императора с другими правителями в конце 1840-х гг., для оценки русской политики в целом. Вместе с тем, Жуковский не дал столь высокой характеристики, как «единственная минута», ни одному поступку или слову Николая 1848–1850-х гг., ни событию другого периода, типологически не связанному с темой подавления бунта. Это можно объяснить тем, что русский монарх так и не исполнил предлагавшейся поэтом программы «второй минуты» — дарования амнистии декабристам. Апелляция исключительно к «первой минуте» как к единственному доказательству достойного характера правления Николая в конце 1840-х гг. одновременно была и тайным, неммым укором императору со стороны Жуковского — именно за то, что «другая истинно великая минута царствования» так и не наступила. Разрешение этого внутреннего конфликта Жуковский находит или — точнее — хотел найти для себя (или для других) в изображении минуты проявления государем человеческих чувств, однако оценка поэтом душевной жизни царя постоянно колебалась.

ГЛАВА II

В ПОИСКАХ ИДЕАЛА: ЖУКОВСКИЙ ПРИ ДВОРЕ НИКОЛАЯ I (1825–1839)

§ 1. Урок истории: диалог наставника и ученика

*Я желал бы, чтобы мы, так
сказать, составили союз чте-
ния, мыслей, суждений*

[Жуковский 1827: III, 188].

Исследователи неоднократно останавливались на вопросе о генезисе исторических воззрений и сочинений поэта. Н. Степанов констатировал:

Как Карамзин смотрел на историю глазами художника и патриотического моралиста скорее, чем исследователя, так смотрит и Жуковский; как у Карамзина нет строгой научной разработки, так и у Жуковского история имеет лишь нравственное значение; как Карамзин субъективно относится к некоторым историческим героям, так и Жуковский, и пр. и пр. [Степанов: 77]

По мнению Степанова, историческая концепция Жуковского полностью зависела от позиции Карамзина. Исторические сочинения поэта воспринимаются им как эпигонские, не содержащие новых, оригинальных идей по отношению к «Истории Государства Российского». Степанов резюмирует: «Тщетно стали бы искать здесь научной разработки: это ни более, ни менее как краткий, в высшей степени художественный, пересказ истории Карамзина» [Степанов: 81]. Такой взгляд на Жуковского-историка попыталась скорректировать в своих работах Ф. З. Канунова³²:

Опуская многие события <...>, Жуковский акцентирует свое внимание лишь на том, что может служить историческим уроком. Вот почему подход у Жуковского более критический, а его характеристики русских правителей более определенные и четкие <...> у Карамзина более спокойный, эпический тон, необходимый историку <выделено Кануновой. — Т. Г.>. Жуковский острее су-

³² См. цикл статей Ф. З. Кануновой: «Русская история в чтении и исследованиях В. А. Жуковского» [Канунова 1978]; «О философско-исторических воззрениях Жуковского (по материалам библиотеки поэта)» [Канунова 1987]; «Карамзин и Жуковский (Некоторые вопросы изучения русской истории по материалам библиотеке В. А. Жуковского)» [Канунова 1988]; «Н. М. Карамзин в историко-литературной концепции В. А. Жуковского (1826–1827)» [Канунова 1999]. Отметим также работы А. С. Янушкевича: «Круг чтения В. А. Жуковского 1820–1830-х гг. как отражение его общественной позиции» [Янушкевич 1978]; «В. А. Жуковский и Великая французская революция» [Янушкевич 1990].

дит о прошлом, со строгостью своего современника, человека 20-х гг. XIX в. [Канунова 1978: 445–446]

Не оспаривая тезиса о влиянии на поэта идей историографа, Канунова указала на стилистические различия в изложении исторического материала Карамзиным и Жуковским³³. Однако исследовательница коснулась лишь одного сочинения Жуковского — «Черты истории государства Российского», сопоставив его с «Историей Государства Российского» Карамзина. К сожалению, остались почти не затронутыми другие исторические работы наставника наследника престола, тем самым, вопрос о становлении Жуковского — преподавателя истории для цесаревича оказался не в полной мере освещенным.

В настоящем параграфе мы сосредоточимся не на описании генезиса исторических воззрений поэта, а на реконструкции его диалога с властью, основанного на историческом материале. Нас будет также интересовать, как царь и цесаревич воспринимали адресованные им исторические сочинения Жуковского.

Поэт, преподававший наследнику историю на начальном этапе обучения, прежде всего, составил подробный конспект сочинения Н. М. Карамзина. В архивной росписи под номером 105 числится: «Русская история. 7 тетрадей <...>. Эта история составлена Жуковским по «Истории Государства Российского» Карамзина, на которую им делаются ссылки» [Бумаги: 171]. На полях с левой стороны тетради поэт фиксировал даты, номер тома и страницы, а справа делал соответствующие выписки из труда историка. В первой, второй и третьей тетрадях находится конспект четвертого тома «Истории», конспект пятого тома составляет четвертую, пятую и шестую тетради (см.: [Русская история]). Жуковский законспектировал, таким образом, ту часть сочинения Карамзина, которая посвящена истории Руси от начала татарского ига до Иоанна III. Тема образования централизованного монархического государства была ключевой в преподавании русской истории будущему государю. Не случайно, что Жуковский также уделил особое внимание начальному периоду, становлению и падению русского государства. Исторический материал позволял указать на ошибки и слабости князей, показать их последствия.

³³ Разная стилистическая подача материала была обусловлена различной прагматикой текстов Карамзина и Жуковского. Протоиерей Г. Павский в «Записке о преподавании закона Божия Наследнику Цесаревичу», переданной через Мердера Николаю I, точно охарактеризовал избранный им метод, который вполне соотносится с методом поэта-историка: «В сей период <1827–1830 гг.> с особенною полнотою полезно пройти воспитаннику историю религии. Но здесь история **не** должна уже **просто повествовать** о происшествиях, а должна **выяснить** происшествия из начал и излагать их со всею обстоятельностью» (цит. по: [Барсов: 279]).

В архивной росписи под номером 90 числится тетрадь, «озаглавленная “Древняя история России”. <...> Заметки по русской истории доведены до конца княжения св. Владимира» [Бумаги: 165]. Этот текст соответствует хронологическим границам первого тома «Истории Государства Российского». В этом сочинении Жуковский впервые попытался «преодолеть» Карамзина. Сравним, например, отрывки, предшествующие описанию правления князя Олега.

Карамзин:

Рюрик, по словам летописи, вручил Олегу правление за малолетством сына. Сей опекун Игорев скоро прославился великою своею отважностью, победами, благоразумием, любовью подданных [Карамзин: I, 90].

Жуковский:

После Рюрика остался малолетний сын его Игорь. Олег его родственник наследовал престол его и вероятно владычествовал им не как опекун Игоря а как Государь самовластный. Права наследства не могли быть еще утверждены никаким законом. Олег был храбрый воин. Бранное мужество считалось главным достоинством Государя того времени. Воевали только для того чтобы воевать: ибо ничем иным не могла быть удоволствована деятельность беспокойная, не терпевшая праздности [Древняя история].

Поэт сосредоточился на важных, с его точки зрения, исторических нюансах. В своих оценках он был хотя не вполне оригинален, но независим. Жуковский *подробнее*, чем Карамзин, размышлял о природе власти монарха. Выбор и подача исторического материала, оценка того или иного правителя были очевидным образом обусловлены прагматикой сочинения, предназначавшегося для занятий с наследником.

Поэт продолжал дополнять свой текст «Древней истории», из которого выросло объемное сочинение. В архивной росписи под номером 103 значится: «История Государства Российского. Переплетенная тетрадь, в лист, 96 листов. Писана рукою писца с собственноручными поправками и изменениями Жуковского» [Бумаги: 170]. Последняя историческая дата — 1237 г.

Включив «Древнюю историю» в новую работу, поэт, начиная с описания княжения Ярослава, начал активно заимствовать целые фразы из карамзинской «Истории». Приведем характерный пример из описания правления Мономаха.

Карамзин:

По смерти Святополка-Михаила граждане Киевские, определив в торжественном совете, что достойнейший из князей российских должен быть великим князем, отправили послов к Мономаху и звали его властвовать в столице. Добродушный Владимир давно уже забыл несправедливость и вражду Святополкову: искренно оплакивал его кончину и в сердечной горести отказался от предложенной ему чести. Вероятно, что он боялся оскорбить Святославичей, которые, будучи детьми старшего Ярослава сына, по тогдашнему обыкнове-

нию долженствовали наследовать престол великокняжеский. Сей отказ имел несчастные следствия <...>. Спокойные граждане, приведенные в ужас таким беспорядком, вторично звали Мономаха. <...> Владимир приехал в столицу <...>. Даже и Святославичи не противились общему желанию; уступили Мономаху права свои, остались князьями удельными и жили с ними в согласии до самой их кончины [Карамзин: I, 255].

Жуковский:

По смерти Святополка граждане Киевские отправили послов к Мономаху и звали его господствовать в столице. Мономах сначала отказался, **боясь, вероятно, Святославичей, старших в роде** <sic!>. Но в Киеве произошел мятеж; вторично звали Мономаха и он наконец прибыл в столицу. Святославичи не противились общему желанию, уступили ему права свои, остались князьями удельными и жили с ним в согласии до самой их кончины [Учебное руководство].

«Учебное руководство» Жуковского отличается от текста Карамзина, прежде всего, самостоятельными репликами-рассуждениями. Фигуры князей Олега и Мономаха приобрели особую значимость и остроту в программном сочинении Жуковского «Черты истории государства Российского» 1834 г.

В 1836 г. А. Краевский вел переговоры с Жуковским о напечатании его исторических таблиц по русской истории с подробным комментарием в «Журнале министерства народного просвещения» в 1837 г.³⁴ Краевский представил «Черты истории» на предварительный просмотр Л. В. Дубельту (см.: [Гузаиров 2002]). Высокий цензор, выразив похвалы сочинению Жуковского, поставил вопросительный знак против следующей фразы: «Олег, старший в роде после Рюрика, наследует престол его вместо малолетнего Игоря и тем подаёт бедственный пример наследования для времён грядущих» (цит. по: [Бычков: 599]). Помощник Дубельта М. М. Попов пояснил:

Здесь Леонтий Васильевич находит, что неосторожно сказано вообще о наследии, как будто Олег подал бедственный пример всякому наследию, **не исключая и того, какое теперь у нас**. Эти строчки или опустить, или выразиться яснее о наследии по праву старейшенства (цит. по: [Там же: 599]).

Дубельт опасался ассоциации и «неправильного» истолкования событий 1825 г., в том числе, Жуковским, который с самого начала царствования включился в создание официальной версии восшествия на престол Николая I и знал законы придворного творчества.

Характерно, что уже в письме к А. Тургеневу 16 декабря 1825 г. Жуковский подчеркнул в Николае Павловиче те характеристики, которые стали

³⁴ Краевский уже опубликовал свою статью об исторических таблицах Жуковского (см.: [Краевский]).

константами при описании императора: «Государь отстоял свой трон; <...> он имеет и ум, и твердость, и неустрашимость» [ПЖТ: 211].

29 декабря 1825 г. в письме к А. П. Киреевской Жуковский повторил свою, а, в определенном смысле, и придворную оценку событий и личности нового монарха: «... на троне ее Государь с **сильным духом**. Теперь будущее исполнено надежды. Он **действует прекрасно и неумолим в деятельности**» [Уткинский сборник: 42]. В «Стансах» Пушкин афористически передал взгляд на Николая Павловича, который в это время был, очевидно, распространен достаточно широко: «Во всем будь пращурю подобен: / Как он **неумолим и тверд**»³⁵ [Пушкин: II, 344]. В стихотворении «Друзьям» Пушкин добавил к портрету государя еще одну черту: «Он **бодро**, честно правит нами» [Там же: III, 47].

В 1828 г. эпитет «бодрый» по отношению к Николаю I был применен не только Пушкиным, но и Жуковским. В его послании к Александре Федоровне на фоне выразительно изображенной императрицы («Ты памятник себе святой соорудила») появляющийся в заключительной строфе образ Николая лишен каких-либо ярких черт. Единственным славным делом, с точки зрения поэта, оказывается его героическое восшествие на престол: «Он **бодрою** рукой взял предков багряницу» [Жуковский: II, 254–255]. Эта характеристика изначально применялась Жуковским к Александру I в известном послании: «Зря **бодрого** Тебя впреди Твоих дружин» [Там же: I, 371]. Эпитет «бодрый» — та узловая точка, в которой соединились образы Александра I — Николая I — Петра I, и это определение стало одним из главных для «идеального» государства и государя³⁶.

³⁵ Ср. в письме графини Нессельроде 15 декабря 1825 г: «...твердое и мужественное поведение императора произвело должное воздействие» [Нессельроде: 273]. Голенищев-Кутузов заметил: «Его твердый, спокойный взгляд произвел успокоительное действие на всех» [Голенищев: 231]. После разгрома восстания во дворце состоялся примечательный разговор: К. Г. Репинский «рассказал все, что видел, и в конце заметил, император Николай — герой, и его только **бесстрашию и твердости** Россия обязана своим спасением. “Так, — отвечал Сперанский, — **все говорят, что так**”». [Междуцарствие: 43]. 19 декабря Карамзин писал Дмитриеву: «Новый Император оказал неустрашимость и **твердость** <...> да будет славен Николай I-й <...>. Он умен, **тверд**, исполнен добрых намерений...» [Карамзин 1866: 466–467].

³⁶ Еще Карамзин в записке «О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях» указал: «В XI веке Государство Российское могло, как **бодрый**, пылкий юноша, обещать себе долголетие и славную деятельность» [Карамзин 1997: 492]. Этот эпитет употреблял и Жуковский в «Чертах истории», описывая древнюю историю России [Жуковский 1902: X, 45–46]. Рассматриваемое определение, таким образом, обладает высокой смысловой насыщенностью, иллюстрирует мировоззренческую и типологическую связь сочинения Жуковского с запиской Карамзина. И. А. Шляпкин, делая наброски к статье «Исторические взгляды В. А. Жуковского и 1848 г.», также подчерк-

Приняв во внимание все сказанное выше, отметим описание Владимира Мономаха в «Чертах истории»:

Мономах, сильный любовью народа и славою побед, мог бы сесть на престол отца своего; но **жертвует властью святости права**. <...> Призванный Киевлянами на престол, упразднившийся по смерти Святополка, Мономах вторично являет **пример смирения и правдолюбия**, отказавшись от власти верховной в пользу старшего рода Святославичей; но убежденный и бунтом народа и произвольным согласием Князей, он возлагает на себя венец великокняжеский [Жуковский 1902: X, 37–38].

Автор особо подчеркнул мотив пожертвования князем престолом ради соблюдения закона. Характерно, что Жуковский в «Чертах истории» отказался от своей первоначальной трактовки, изложенной в «Древней России» («Мономах сначала отказался, **боясь, вероятно, Святославичей, старших в роде**»). Поэт согласовал свою позицию с официальной точкой зрения, исходившей, возможно, от самого императора. В «Записках» (начало 1830-х гг.) Николай I педальировал в своих действиях во время междоусурствия идею высокого самопожертвования:

... я жертвовал собою с убеждением быть полезным отечеству и тому, которому присягнул. <...> я себя спрашивал, кто большую приносит из нас жертву? тот ли, который отвергает Наследство Отцовское <...> или тот, который, вовсе не готовившийся на звание <...>, и который неожиданно, в самое тяжелое время и в ужасных обстоятельствах должен жертвовать всем, что ему было дорого, дабы покориться воле другого! Участь страшная <...> жертва моя была в моральном, в справедливом смысле гораздо тягче [Николай I: 47].

Эпизод принятия власти Мономахом был выдержан Жуковским по всем правилам складывавшегося канона описания «необычного» престолонаследия. Такая трактовка и особенное акцентирование поведения Мономаха не характерны ни для Карамзина в «Истории Государства Российского» [Карамзин: I, 255], ни для «Истории русского народа» Полевого (1829–1833 гг.) [Полевой: 330], ни для «Русской истории» Устрялова (1837 г.) [Устрялов: 149]. Поэт разрабатывал образ Мономаха как символ праведной и сильной власти также и в своей патриотической поэзии. Это, во-первых, стихотворение «Русская слава» (1831): «Но Русь в беде крепка была / Душой великой Мономаха...» [Жуковский: II, 284]. Во-вторых, стихотворение «1-ое июля 1842»:

На Русь половчанин напал,
Перед врагом неверным стал
Он вместе с **бодрым** Мономахом,
И надолго, объаты страхом,
Враг заперся в своих степях.

нул концептуальное влияние записки Карамзина на статью Жуковского «О происшестввах 1848 г.» [Шляпкин].

Но наш великий Мономах,
Тех дней последнее светило,
Угас, и время наступило
Неизглаженное зол

<...>

О **бодрых** праотцах преданья
Унывшим внукам он берег

[Жуковский: II, 328].

Только применительно к Мономаху автор использует эпитет «**бодрый**», что является знаком особой, концептуальной важности этой фигуры для Жуковского. Знаменательно, что в «Чертах истории» поэт выделил из русских правителей именно Владимира Мономаха как пример и мерило для каждого последующего государя. История правления Олега и Мономаха, с одной стороны, дали Жуковскому возможность обратиться к щекотливой теме престолонаследия. С другой стороны, эти две противоположные фигуры князей позволили ему поднять вопрос о качествах идеального государя. В «Чертах истории» Жуковский пересмотрел репутации некоторых правителей.

Вокруг князя Олега традиционно складывался героический ореол победителя. Начало такой идеологической практике положила пьеса Екатерины II «Начальное управление Олега». Позднее Карамзин в статье «О случаях и характерах в Российской истории...» подчеркнул: «Олег, победитель Греков, **героическим характером** своим может воспламенить воображение художника» [Карамзин 1834: 225]. А. Писарев в книге «Предметы для художников, избранные из Российской истории, Славянского Баснословия и из всех русских сочинений в стихах и прозе» считал полезным для воспитания патриотов запечатлеть победу великого князя над греческим императором [Писарев: 21]. В стихотворении «Русская слава» Жуковский следовал традиции изображения этого героя (см. характеристику Олега в черновом варианте текста: «И наш **железный исполин** / Прибил свой щит к вратам Царьграда» [Жуковский: II, 283]). Вместе с тем, в исторической науке 1830-х гг. уже существовала далеко не однозначная оценка подвигов великого князя. На слова А. Федотова в статье «О значении слова Русь в наших летописях», «что Олег, полудикий предводитель каких-нибудь искателей приключений, был *истинным основателем величия России*», М. Погодин, редактор «Русского исторического вестника», дал подстрочный комментарий: «Давно уже перестали верить, и автор во многих книгах может прочесть противное» [Федотов: 104].

По мнению Жуковского, автора сочинения «Черты истории», значение правления Олега состояло в том, что «его воинственное мужество полагает **твердое основание могуществу России**» [Жуковский 1902: X, 33]. В своей оценке поэт следовал за Карамзиным: «... только **сильная рука Героя** основывает великие империи и служит им надежную опору в их опасной новости. Древняя Россия славится не одним Героем: никто из них не мог

сравняться с Олегом в завоеваниях, которые утвердили ее бытие **могущественное**» [Карамзин: I, 101–102].

Однако поэт, в отличие от историографа, избегал характеристики великого князя как «героя», его стиль лишен восторженных обертонов. Величие правителя, по мнению Жуковского, составляет не исключительно воинская доблесть, но, прежде всего, его гражданская деятельность на благо отечества: «Что утверждает могущество Государства? Устройство внутреннее, плод долговременного мира» [Жуковский 1902: X, 49]. Показательна последовательность определений в описании Владимира Мономаха, центрального персонажа сочинения поэта:

Его княжение подобно великой душе его, **благостной и твердой** <...> *славный* *благими нравами и победами за Русскую землю*, он умирает <...> его душа, пролетевшая, как светлый призрак благоденствия... [Там же: X, 38].

Князь Олег, напротив, наделен в «Чертах истории» только одной характеристикой идеального правителя, второй по значимости для Жуковского, — твердостью (заметим, что данное определение является главным в портрете Николая I).

Фигура Святослава, как и Олега, также разрабатывалась в историографии как устойчивый символ славы русского оружия (см.: [Карамзин 1834: 227–228], [Писарев: 23]). Образ этого князя служил олицетворением не только первого национального, но почти идеального правителя. Ярким выразителем такого взгляда в исторической науке 1830-х гг. был Булгарин, воскликнувший:

Вот истинный образец героев древнего Севера! <...> Походы Святослава имели благое последствие для новорождавшегося Государства. Они сделали страшным и славным имя *Руси*, у всех народов и даже у Греков. При основании Государства, это *первое условие* [Булгарин: IV, 40; 72–73].

Противоположный, однозначно негативный образ нарисовал Жуковский. Святослав описан в «Чертах истории» как лишенный героического ореола «дикий юноша», чьи «завоевания, *бесполезные для отечества*, ввергают и самого завоевателя в погибель» [Жуковский 1902: X, 34]³⁷. Ратные под-

³⁷ В оценке правления Святослава Жуковский шел за Карамзиным, писавшим: «сей Александр нашей древней истории <...>, образец великих полководцев, не есть пример государя великого: ибо он славу побед уважал более государственного блага и, характером своим **пленяя** воображение **стихотворца**, заслуживает **укоризну историка**» [Карамзин: I, 132]. Исторический портрет государя зависел, таким образом, от статуса автора (поэт ↔ историк) и жанра текста. Напомним, что в «Певце во стане русских воинов» Святослав был помещен Жуковским в пантеон героев («О Святослав, бич древних лет, / Се твой полет орлиный» — I, 226). Еще 12 сентября 1810 г. он писал к А. Тургеневу: «Святослав <...> по героическому характеру своему более принадлежит **поэзии**» [ПЖТ: 61].

виги, как считал наставник наследника престола, не имеют государственного значения, если они заслоняют в душе монарха гражданские добродетели и препятствуют достижению народного благосостояния. Такая система государственных ценностей, по мысли Жуковского, предполагала изменение отношения к военным парадам. В письме от 2 октября 1826 г. поэт предупреждал императрицу Александру Федоровну:

Я в газетах прочитал описание развода, на котором наш маленький великий князь явился верхом и пр. <...> страсть к военному ремеслу стеснит его душу: он привыкнет видеть в народе только полк, в отечестве — казарму. **Мы видели плоды этого:** армии не составляют могущества государства. **Если царь занят одним устройством войска, то оно годится только на то, чтобы произвести 14-е декабря** [Жуковский 1885: VI, 261–262].

Жуковский продолжал исследовать природу мятежа и пришел к выводу, что одной из его причин было чрезмерное увлечение военной муштрой, которая часто сопровождалась, хотя об этом поэт не упомянул, неуважительным отношением со стороны царя и его братьев к солдату. Поэт предложил изменить сам характер обучения наследника военному искусству, отвести для военных игр только летние месяцы. В «Плане обучения» Жуковский писал:

Их главная польза было бы не одно приобретение сведений военных, но и укрепление сил физических, и **нравственное образование**. <...> Великий князь был бы в толпе людей, имел бы товарищей, наравне с другими нес бы тягость долга и службы: все это самым благотворным образом могло бы действовать на его ум и сердце, развернуло бы в нем все чистое, **человеческое** <...>. Такого рода забава не должна быть одна механическая экзерциция солдата, бесплодная, естли не убийственная, для нравственного человека [План: 243–244].

Предложения Жуковского — это не столько почерпнутая из книг мудрость, сколько следствие анализа современных явлений и реакция на них. Поэт, по сути, снова обратился к проблеме выстраивания взаимоотношений между монархом и подданными на принципе уважения и ценности каждого человека.

Автор «Плана обучения» — это и идеалист, и прагматик одновременно, цель которого частично заключалась в предотвращении условий для возникновения мятежа. Император, настаивая на тщательном и постоянном военном обучении своего сына, на его участии в парадах, приучал армию к покорности будущему царю. Педагогические интенции Николая I — это не только результат полученного им самим образования и личного пристрастия ко всему военному. Память о трагическом дне восшествия на престол заставляла императора, прежде всего, готовить своего сына к критической ситуации (возможному бунту). Весьма показательны слова монарха, сказанные воспитателю цесаревича Мердеру в 1832 г.: «Я заметил, что Александр показывает вообще мало усердия к военным наукам; я хочу, чтоб он знал, что я буду непреклонен, если замечу в нем нерадивость по

этим предметам; **он должен быть военным в душе, без чего он будет потерян в нашем веке**» [Мердер: XII, 514]. Из событий 14 декабря император мог сделать единственный вывод: его семья и Россия были спасены Провидением, но через его «полководческие» действия. Для Николая I идеалом монарха стал государь-воин, что окончательно утвердилось после французской революции 1830 г. Такая забота отца о сыне была для Жуковского препятствием в воспитании «идеального» монарха по его плану.

1 января 1828 г. — в день официального начала обучения наследника престола — поэт преподнес своему воспитаннику написанную неизвестным нам художником картину с изображением Александра Невского в отроческом возрасте. Свой подарок Жуковский сопроводил письмом, в котором разъяснил назначение и главные идеи картины. Судя по этому описанию, художник представил отрока 12-ти лет, будущего князя Александра Невского, на лоне природы на рассвете в момент его молитвы.

Письмо Жуковского и картина, написанная по его идее, являются наглядной иллюстрацией программы воспитания наследника и главных, в понимании воспитателя, качеств просвещенного монарха. В письме поэта обращает на себя внимание, с одной стороны, особая частота употребления эпитета «добрый»³⁸ и связанных с ним словосочетаний (например, «добрая минута вашей жизни»); а с другой, отсутствие традиционных военно-героических характеристик, присущих образу Невского. Поэт подчеркнул:

Александр Невский жил для блага современников, Александр Невский жив и для блага потомков, ибо мы, его потомки, и по прошествии нескольких веков, с благодарностью подходим к его гробу. **Пример добрых дел** есть лучшее, что мы можем даровать тем, кто живет вместе с нами; **память добрых дел** есть лучшее, что может оставить тем, кто будет жить после нас [Александр Невский 1828: 167–168].

Таким образом, по мнению поэта, на высокое место в истории ставит монарха только «память добрых дел», например, выкуп Александром Невским русских пленников в Орде.

³⁸ Определения «добрый» и «твердый» (= могущественный) по отношению к Николаю I были одновременно использованы Карамзиным в письме к Дмитриеву 19 декабря 1825 г.: «Новый Император <...> **умен, тверд, исполнен добрых намерений**» [Карамзин 1866: 467]. Жуковский, рассказывая о русских князьях, использовал знаковые, «николаевские» оценочные эпитеты. Умаление одних характеристик, выдвигание на первый план других было камуфлированной попыткой осмыслить, в конечном счете, фигуру Николая, высказать свои ожидания и представления о новом государе. Разумеется, если определение «твердый» было семантически однородным, то в понятие «добрые намерения» каждый вкладывал свой смысл.

В октябре 1831 г. цесаревич написал собственное сочинение об Александре Невском. Концептуально иным, по сравнению с текстом Жуковского, стало понимание им образа великого князя, который наделен у Александра Николаевича традиционными военно-героическими чертами и христианскими добродетелями — смирением и самопожертвованием:

Александр исполнил то, что в эту минуту обещал себе и Богу: он сделался образцом Государей и Героев. Свое княжение в Новгороде ознаменовал он **блистательными победами**. Но История еще более удивляется его истинно **Христианскому смирению**. <...> Александр <...> забывал свое достоинство и смиренно испрашивал помилования подданным у надменных Татарских Ханов. Россия, в знак благодарности за его **самопожертвование для блага общаго**, причислила его к лику Святых [Александр Невский 1831: 493–494].

Одним из текстов, который мог повлиять на стилистику и идейный план сочинения наследника об Александре Невском, могли стать мемуары Николая Павловича о его восшествии на престол. Согласно архивным данным, уже в 1830 г. император составил для своей семьи записку об известных событиях 1825 г. Николай Павлович тем самым уже определил для себя общую линию и тональность будущих записок. В 1831 г. государь написал 1 и 2 тетрадь своих мемуаров, которые, по свидетельству самого Александра Николаевича, читались в семейном кругу. Как мы отметили выше, главные качества, которые подчеркивал в себе Николай I в своих записках, — самопожертвование и героизм, именно эти черты акцентировались во многих описаниях его воцарения, в том числе и у Жуковского.

Исключительно «героическая минута» в глазах наследника (и императора) придавала все необходимые высокие обертоны правлению и облику государя. Цесаревич трактовал Александра Невского в традиционном военно-героическо-христианском ключе.

Как видно из классного сочинения Александра Николаевича, влияние наставника на ученика оказывалось внешним, ограниченным, проявившимся лишь на уровне заимствования сюжета; наследник, переписав на своем языке письмо Жуковского 1828 г., не воспринимал его концепцию просвещенного государя, в основе которой лежало представление о «памяти добрых дел». Ученик поэта следовал за другим образцом идеального правителя, который Жуковский начертал в балладе «Сражение со змеем»³⁹ и который более соответствовал как официальной модели, так и детским представлениям о государе-рыцаре.

³⁹ Главные черты героя «Сражения со змеем» — это покорность и смирение, затем военная доблесть, неотделимая от заботы о народном благе. В пятом номере придворного журнала «Муравейник» Жуковский опубликовал перевод стихотворения Шиллера “Der Kampf mit dem Drachen”, а великий князь представил свое сочинение «Александр Невский» (см. оглавление журнала [Книжная редкость]).

Позднее для классного журнала «Собиратель» поэт составил сочинение о Марке Аврелии. Источником этого текста, вероятно, послужила книга французского писателя А. Тома «Похвальное слово Марку Аврелию»⁴⁰, которая, по свидетельству А. С. Янушкевича, «имеется в библиотеке Жуковского с интересными пометами» [Янушкевич 1978: 485]. К сожалению, ученый в своей статье не публикует этих маргиналий и не обращается к их рассмотрению. Мы сейчас не располагаем их текстом, что делает наш последующий анализ уязвимым.

Любопытно, что в 1813 г., когда Мария Федоровна настойчиво не отпускала великого князя Николая Павловича в армию, он вместе со своим учителем Аделунгом изучал «Похвальное слово Марку Аврелию» А. Тома. Великий князь составил рассуждение на тему о римском императоре, где охарактеризовал сочинение французского писателя как

...образчик возвышенного красноречия <который> принес мне величайшее наслаждение, раскрыв предо мною все добродетели великого человека и показав мне в то же время, сколько блага может сотворить **добродетельный государь, с твердым характером**. <...> скажу <...> что я писал его <сочинение> с величайшем сочувствием к личности государя, вполне **достойного удивления и подражания** [Николай Первый: I, 79, 81].

Марк Аврелий, таким образом, являлся той моделью идеального государя, на которую изначально ориентировался Николай I. Из всего текста Тома великий князь выделил эпизод восшествия на престол Марка Аврелия, который сопровождался описанием первоначального намерения римского императора отречься от предлагаемой должности и рассуждениями о своем сане. Напомним, что свои мемуары Николай I посвятил во многом рассказу о своем воцарении и размышлениям о царской должности.

В основе сочинений юного Николая Павловича и Жуковского лежит отрывок из Тома, где передана речь воспитателя Марка Аврелия Аполлония в момент, когда траурная процессия с останками императора въезжает в Рим. Как мы полагаем, поэт в «своей» речи не только очерчивает для будущего императора Александра Николаевича образ идеального правителя,

⁴⁰ В пользу принятия именно этой точки зрения может служить тот факт, что перевод отрывка из Гиббона «Характер Марка-Аврелия», напечатанный Жуковским в «Вестнике Европы» в 1808 г., совершенно отличается от сочинения о римском императоре, написанном наставником наследника престола для «Собирателя». Обратим внимание в этом переводе на две черты Марка Аврелия: во-первых, он «ненавидел войну <...> вооружаемый необходимостью защищать пределы Империи», во-вторых, «он сожалел, этот несчастный лишил его случая **обратить врага во друга**, и доказал искренность сего чувства, смягчивши строгость Сената к соумышленникам возмутителя» [Марк Аврелий 1808: 42]. Марк Аврелий стал одним из образцов идеального монарха в программе Жуковского совсем не случайно. История правления этого римского императора позволяла коснуться актуальных проблем николаевского царствования — отношения к войне и к осужденным декабристам.

но и косвенно побуждает самого Николая I к тому, чтобы тот до конца придерживался такой модели поведения. В этой связи обращают на себя внимания совсем не случайно появившиеся строки Аполлония-Жуковского:

Возблагодарим же богов за то, что **не с самого начала жизни своей был он назначен царствовать**. Более сердец было развращено саном верховным; Рожденный быть простым гражданином, он сделался великим. Родясь наследником престола, быть может, остался бы он в толпе людей необыкновенных [Собиратель].

В чем же состоит величие Марка Аврелия? На этот вопрос Жуковский не дал прямого, определенного ответа. Обратимся к сочинению Тома, к общему источнику как для поэта, так и для Николая Павловича (о чем, кстати, поэт мог не знать), и процитируем то место, где раскрывается понятие монаршей добродетели:

Надлежит от времени до времени вспоминать земле таковые злодеяния, дабы государи по безмерности своего мщения научились страшиться безмерности своей власти. Днесь возвещу вам, как Марк Аврелий поступал. Принесли к нему главу хищника престола, погибшего от рук своих сопреступников. Он отвратил свои очи и повелел сии плачевные остатки предать земле с честью. Восприяв над мятежниками власть, простил им преступление; он спас живот всех тех, кои хотели похитить от него империю. Но сего недовольно: он стал их покровителем. Сенат отмстить хотел государя своего, но он у сената просил помилования своим неприятелям. <...> Были ему представлены бумаги мятежников; он, не читав их, предал их огню. «Не хошу, — рек он, — быть принужденным ненавидеть». Все к ногам его повергается; <...> он сохраняет или обновляет тишину и повсюду удивляет философию, достойною престола [Марк Аврелий: 226–227]⁴¹.

Итак, стремление к миру и милость по отношению к заговорщикам являются, по Жуковскому, главными чертами просвещенного монарха.

В контексте первых лет николаевского царствования и постоянного заступничества поэта за осужденных можно предположить, что за выражениями Жуковского «память добрых дел» или «пример добрых дел» в описании Александра Невского в 1828 г. скрыто обращение к Николаю I об оказании монаршей милости к декабрьским заговорщикам.

В архиве Александра II находится еще одна его ученическая записка об Александре Невском, написанная, по-видимому, несколькими годами позже. Это сочинение цесаревича отличает возросшая самостоятельность в суждениях и в манере изложения. Приведем с купюрами его рассуждение:

Россия достойно наградила его <Александра Невского>, дав ему имя Святого, и показала, что **народ не всегда полагает достоинства Государя в одном только внешнем блеске Государства**, но что иногда умеет и справедливо ценить иное.

⁴¹ Цитируем по переводу Д. Фонвизина, который мог быть известен Жуковскому.

По моему мнению, Александр Невский должен служить образцом для всех Государей⁴². Он показал, что когда непременно необходимо действовать оружием, что он и им умеет владеть исправно, но **не для завоевания, а для отражения нападавших врагов**. Быв Великим Князем в несчастные времена ига татарского, он понял, что именно он может спасти свое отечество, видя его в невозможности свергнуть ярмо варваров, решился в опасных случаях жертвовать самим собой для спасения своих подданных. <...> **добродушием и обходительностью со всеми его окружающими, он умел привязать их сердца к себе** [Ученические записи: 25–27].

Данное сочинение с наглядной очевидностью демонстрирует то влияние, которое, в итоге, оказали на будущего государя Жуковский и его помощники⁴³.

Обратим внимание на интересную описку цесаревича:

Всякий Государь подобно Александру действует, т.е. самим собою жертвует для спасения другого, **император** уверен, что все его подданные готовы будут в случае нужды за него отдать даже собственную жизнь, и память подобного Государя вечно будет прославляема [Там же].

Именование Александра Невского императором указывает на то, что за сочинением на историческую тему стоит размышление о современности.

Другое сочинение цесаревич посвятил историческому портрету Иоанна III, в характере которого он также выделил черты, важные для Жуковского, — стремление царя к самодержавию, его попечение о народном благе, любовь к правосудию. Прочитируем отрывок из рассуждения цесаревича:

Медлительность была главною чертою его характера, и всякий знающий дела его не может не удивляться, видя его искусство в пору войны, не проливая ни капли крови сим/сам (?) в них участвовав. <...>

⁴² Интересно отметить, что в другом своем сочинении цесаревич подверг критике князя Владимира и не выбрал его себе в образец, так как «нельзя всему подражать, ибо он с хорошими качествами снабден более качествами дурными. <...> Как просвятитель <sic!> народа он оказал России большую услугу и тем заслуживает, чтобы ему подражали» [Ученические записи: 28–29]. Наследник престола нацелен в этой работе на воспитание в себе более монарха — человека христианской добродетели, нежели государя-героя.

⁴³ Жуковский и другие учителя акцентировали внимание цесаревича на концепции «монарха — человека», заботящегося не о завоеваниях, а о народном благе, и вознаграждаемого за это любовью своих подданных. 15 сентября 1831 г. великий князь записал в дневнике: «Господин Липман <...> мне говорит, что он предпочитает Государя, заботящегося об образовании народа своего, тому, который только думает о завоеваниях; мысль сия мне кажется весьма справедливой. Первая забота Государя, по моему мнению, есть попечение о благоденствии своих подданных. Государь завоеватель поступает вопреки сему правилу» (цит. по: [Захарова: 58]).

Своим <тактом?> и справедливостью он приобрел любовь народную и уважение его окружающих... [Ученические записи-2: 24–25].

Укажем здесь на факт совпадения интенций Жуковского и императора. Для сравнения приведем отрывок из завещания Николая сыну (1835 г.):

18) С иностранными державами сохраняй доброе согласие, защищай всегда правое дело, не заводи ссор из-за вздору; но поддерживай всегда достоинство России в истинных ее пользах. **Не в новых завоеваниях, но в устройстве ее областей, отныне должна быть вся твоя забота** [Завещание: 293].

Завещание демонстрирует, что идеалы монарха и отношений с подданными, принципы управления государством, политические приоритеты, внушавшиеся Александру Николаевичу родителем и наставником, во многом совпадали. Особый акцент Николай Павлович, как и Жуковский, делал на нравственном воспитании цесаревича. Хотя вопрос о значении парадов оставался камнем преткновения, несмотря на частые разногласия и взаимное непонимание между поэтом и его учеником⁴⁴, Николай I в целом поддерживал общее направление обучения своего сына «царской науке», разработанное Жуковским.

Диалог Жуковского и Николая I был сложным, с обидами и разочарованиями⁴⁵, но поэт и царь, объединенные общей целью воспитания наследника престола и хорошо знавшие друг друга, в конечном итоге, находили компромисс.

⁴⁴ См. также дневниковые записи Жуковского о его взаимоотношениях с цесаревичем. 21 мая 1834 г. поэт писал: «Мои сношения с ним, в течение времени, от обстоятельств, которые должны нас обогатить, вместо того чтобы утвердиться и обратиться в привычку, сделались весьма чем-то слабым: мы бываем вместе, но той связи душ, которая должна существовать между нами, нет» [Жуковский: XIV, 10]. «Педагогический» диалог между поэтом и членами императорской семьи развивался по кругу, колеблясь между надеждами и разочарованиями. В 1840-е гг. Жуковский собрал для цесаревича из своих дневниковых записей тетрадь, содержащую его мысли о самодержавии [О самодержавии]. А. С. Янушкевич, характеризуя дневниковые заметки поэта, справедливо отметил, что Жуковский «вновь и вновь возвращается к проблеме политической законности, соотносит свой идеал просвещенной монархии с российской реальностью» [Янушкевич 1994]. Подчеркнем: это — особенность текстов, предназначенных «для немногих». Жуковский одновременно придерживался и иной стратегии: он отыскивал черты своего идеала просвещенной монархии в российской действительности и стремился о них поведать в сочинениях, адресованных широкой аудитории.

⁴⁵ О драматическом диалоге между Жуковским и Николаем I о судьбе журнала «Европеец» (см.: [Вацууро, Гиллельсон]).

§ 2. Обретенное время: поэт и торжество 30 августа 1834 г.

*Итак, не должны ли мы преисполниться
живейшею благодарностью, наслаждаясь
тишиною и благоденствием под правлением
мудрого и милосердного Монарха, Который
отеческою попечительностью охраняет на-
шу жизнь, достояние и промышленность.
В странах чуждых нас уважают, у себя мы
блаженствуем. Что еще желать нам?*

[Добелл: 15].

В июне 1832 г. Жуковский уехал в отпуск за границу. В начале 1833 г. он наслаждался пребыванием в швейцарских Альпах. В дневнике поэт записал:

Теперь 4-е января, день ясный и теплый; солнце светит с прекрасного голубого неба <...>. Наконец и для человеческого рода период всеобщих бурных переворотов дошел до своего предела, <...> **началась новая, высшая жизнь**. Конечно, еще увидим много потрясений; но посреди их шума голос мира и порядка более и более становится внятен [Жуковский: XIII, 345–346].

Поэт преисполнен оптимизма, веры в начало нового, светлого периода в истории цивилизации: после войн и революционного хаоса 1830 г. хотелось увидеть наступление мира и благоденствия. 9 января он начал переводить стихотворение Шиллера “Das eleusische Fest”.

Вс. Чешихин отметил: «Некоторые строфы баллады переведены так, что и прозаический перевод не мог быть точнее. <...> Отступая от подлинника, Жуковский изобретает образы, подлиннику равносильные» [Чешихин: 165]. Исследователь не заметил или не придал значения одному оригинальному и, по нашему мнению, важному образу в переводе Жуковского:

И, сияя, низлетают
Оры легкие с небес
И в **колонну** округляют
Суковатый ствол древес

[Жуковский 1959–1960: II, 227].

Ср. у Шиллера:

Und die leichtgeschürzten Stunden
Fliegen ans Geschäft gewandt,
Und die rauchen Stämme runden
Zierlich sich in ihrer Hand

[Schiller: 780].

Ср. подстрочный перевод:

И легковооруженные часы
Летят, к делу стремящиеся,

И шероховатые стволы закругляются
Грациозно в их руке.

Появившийся в переводе Жуковского образ «колонны» неслучаен и, конечно, напоминает об Александровской колонне, уже возводившейся в Петербурге по утвержденному в 1829 г. проекту Монферрана и установленной 30 августа 1832 г. на Дворцовой площади. В год открытия колонны, в 1834 г., в журнале «Новоселье» была напечатана баллада Жуковского «Элевзинский праздник», которая, по замечанию Т. Н. Степанищевой, «может быть приравнена к утопии, трактующей развитие человечества как путь просвещения и этического прогресса — т.е. путь культуры» [Степанищева: 110]. Созданный в балладе идеальный мир превращался как бы в «реальность» — в ту ожидаемую поэтом прекрасную эпоху, символом которой станет Александровская колонна.

Работа над «Элевзинским праздником» была закончена 17/29 января. В следующие дни стояла облачная, пасмурная погода. 21 января, в субботу, была буря. Во вторник погода улучшилась, а в среду стояли, по словам поэта, «прелестный день и еще более прелестная ночь. Сияние луны. Тишина гор и их отражение в озере. Тишина и шум ручья. Яркие звезды в голубом паре. Светлая звезда в озере. Чудесный цвет западных облаков и контраст их блеска с синевою потемневших гор. Начал Галлера. Absolutismus» [Жуковский: XIII, 348–349].

В дневнике поэт нарисовал картину гармонии, немислимую без ощущения окружающей человека тишины; сквозь описание ночи проступают идиллические образы элегий «Вечер», «Сельское кладбище». Жуковский приступил к чтению сочинения политического деятеля К. Л. Галлера “*Restauration der Staatswissenschaft oder Theorie des natürlich-geselligen Zustands der Chimäre des künstlich-bürgerlichen gegengesetzt*”. «Галлерова система, — писал Жуковский к А. Тургеневу, — <...> ставит границы заносчивости ума и возвращает должное Богу» [ПЖТ: 276]. Размышления поэта о современной истории сопряжены с поиском тех средств, которые смогли бы сохранить и утвердить земную гармонию после революционного 1830 года. Бог и Absolutismus, религия и самодержавие — это то незыблемое основание, которое, по Жуковскому, необходимо для наступления прекрасной мирной эпохи.

Эта идея, развитая поэтом в последующих статьях и письмах, была близка провозглашенной в 1834 г. министром просвещения С. С. Уваровым теории официальной народности⁴⁶. Именно 1834 г. стал пиком уча-

⁴⁶ Уваровская триада неоднократно становилась объектом исследования. Читателя мы отсылаем к классической книге американского историка Н. Рязановского [Riasonovsky], а также к современной работе А. Зорина [Зорин: 337–373] и к книге об Уварове Ц. Х. Виттекер [Виттекер].

стия Жуковского в строительстве государственной идеологии⁴⁷. В данном параграфе мы остановимся на историсофской статье поэта «Воспоминание о торжестве 30 августа 1834 г.».

Описывая торжество, Жуковский подчеркнул особое участие в нем Промысла — природные явления приобрели символическую трактовку:

Все соединилось, чтобы дать сему торжеству значительность глубокую. День накануне был утомительно душен; <...> небо задернулось громовыми тучами <...> запылала гроза <...> молнии за молниями <...> невольно испуганная мысль переносилась к тем временам нашествия вражеского, когда губительная гроза поднялась над Россиею, над нею разразилась и быстро исчезла, оставляя ей славу и мир. Было что-то похожее на незыблемость Промысла в этой колонне <...> как тайная воля спасающего Бога ... [Жуковский 1902: X, 29].

На следующий день небо прояснилось, выглянуло солнце — в этом все увидели знак Божьего благословения. Минувшая ночь напомнила, однако, не только славный 1812 год. Неожиданным образом облачная, пасмурная погода воскресила память о событиях декабря 1825 г. Бенкендорф вспоминал о дне открытия Александровской колонны: «В день 30-го августа <...> небо застилала тучи, мрачные, как был мрачен 1812 год, предшествовавший прославлению Александра, и **события, последовавшие по его кончине**» [Бенкендорф 1834: 554]. Бунт 14 декабря лежал в подтексте праздника 30 августа 1834 г. (Именно во время междуцарствия, 4 декабря 1825 г., министр внутренних дел В. С. Ланской «предложил сенату объявить подписку на сооружение памятника Александру I» [Дивов: 462]).

Как и Бенкендорф, Жуковский мог почувствовать эту тонкую взаимосвязь между двумя, казалось, разными событиями. Обращают на себя внимание те характерные образы, с помощью которых поэт передал свои мысли о дне восшествия на престол Николая I в письме к А. П. Юшковой 21 февраля 1826 г.:

И так не представляйте себе ничего вчерне. Туча прошла и разразилась в стороне; гром не упал на Россию. Наше бедствие имеет весь характер летней грозы после зноя: поля были изнурены засухой. Мы ждали дождя... теперь посмотрим, воспользуются ли благотворением грозы, чтобы удобрить заброшенную ниву [Уткинский сборник: 98].

Схожим образом рассказал о своих впечатлениях другой очевидец бунта, чиновник министерства финансов Телешов: «Государь прекрасно выдержал испытание рока, и **счастливый конец грозы ужасной** был наградою за его твердость великодушною» [Телешов: 285]. М. А. Дмитриев вспомнил куплет, отразивший тревожную атмосферу присяги Николаю I в Москве:

⁴⁷ Деятельность Жуковского-идеолога в первой половине 1830-х гг. подробно описана в работах Л. Н. Киселевой (см.: [Киселева 1997]; [Киселева 1998]; [Киселева 1999]).

Печален вид сего торжественного дня!
Великолепия и мрачности слиянье!
Так с черной тучею багряное сиянье
Сливает Запада заря! <...>
Что будет нового светила на восходе:
Гроза иль **тишина**

[Дмитриев: 236–237].

Оппозиция «света ↔ тьмы», образы «грозы», «молнии», «туч»⁴⁸ — эта универсальная историко-литературная призма, преломив события 1812, 1825 и 1834 гг. под единым углом зрения, связала их в один концептуальный узел. Торжество 30 августа 1834 г. превращалось из дня памяти о победе 1812 г., признания заслуг Александра I в день исторического триумфа Николая I.

Дмитриевская оппозиция 1825 г. «гроза иль тишина» точно передает риторику описания праздника 1834 г.: это — символическая смена ночной грозы благословенной тишиной, или конец эпохи бунтов и начало/продолжение эпохи благоденствия. Тишина — именно эту атмосферу очевидцы отметили в своих описаниях как 14 декабря, так и 30 августа.

Бутенев вспоминал: «**Солдаты**, оглашая до того воздух бессмысленными криками, издали завидев Милорадовича, **умолкли**; мало того, держав ружья у ноги, они без всякой команды, по одному уважению к заслуженному воину, сделали на караул! **Тишина между ними воцарилась как бы на смотру**; нижние чины, глядя в глаза Милорадовичу, ожидали его слова с полною, по-видимому, к нему доверенностию» [Бутенев: 32]. Затем последовал выстрел Каховского, который разрушил урегулированную военным уставом мирную гармонию.

Спустя три дня после 14 декабря Деменков закончил рассказ о столкновении лейб-гренадеров Панова и кавалерии Николая I словами: «На площади установилась на время какая-то **особая тишина**» [Деменков: 260]. «Наступила **томительная тишина, предвестница бури** и не слышно уже

⁴⁸ Ср. слова Николая I, сказанные графу Ляфферонэ 20 декабря 1825 г.: «**Сквозь тучи, затемнившие на мгновение небосклон**, я имел утешение получить тысячу выражений высокой преданности и распознать любовь к отечеству, отмечающую за стыд и позор, которые горсть злодеев пытались взвесь на русский народ (цит. по: [Назаревский: 26]). Педалируемые в описании торжества 1834 г. черты были также характерны для рассказа о втором дне своего правления в «Записках» императора: «Рано утром все было **тихо** в городе <...>. Утро было ясное; **солнце** ярко освещало бивакирующие войска; <...> Часов около десяти <...> выехал я верхом и объехал сначала войска на Дворцовой площади, потом на Адмиралтейской» [Николай I: 67–68]. Именно фигура государя на коне 30 августа 1834 г. осталась в памяти графини Витгенштейн: «Но вот появился император Николай верхом на великолепном коне. Его горделивая истинно царственная осанка говорила о присущей ему силе и могуществе» [Витгенштейн: 736]. Как и Бенкендорф, Николай I мог (осторожно предположим это) почувствовать скрытую близость атмосферы 1825 г. и 1834 г.

было выстрелов со стороны Сенатской площади», — писал другой очевидец [Фелькнер: 148]. Во время картечи Н. А. Бестужев вспоминал: «**Совершенная тишина** царствовала между живыми и мертвыми» [Воспоминания Бестужевых: 45]. После подавления восстания, по словам Телешова, «**тишина самая печальная и самая беспокойная** царствовала повсюду» [Телешов: 287]⁴⁹.

30 августа в 7 часов утра пушечный залп возвестил о начале праздника. Императорская семья отправилась в Александро-Невский монастырь, а народ начал стягиваться к Дворцовой площади. И. Бутовский заметил, что «указанные для публики места наводнялись зрителями с невероятною быстротою, в порядке и **тишине безпримерной**» [Бутовский: 18]. В 11 часов после появления государя торжество открылось выходом 120-ти тысячного войска на Дворцовую площадь. Жуковский настаивал, что «вдруг **тишина** обратилась во что-то, не имеющего имени» [Жуковский 1902: X, 29]. Николай I объехал войска, затем настало время всеобщей молитвы с коленопреклонением, которая напомнила не только о молитве Александра I и русского войска в Париже в 1814 г., но и очистительный молебен на Сенатской площади после казни декабристов 14 июля 1826 г. По свидетельству Дивова, «вся церемония совершилась в величайшем порядке; молитва с коленопреклонением произвела большее впечатление» [Дивов: 486]. Таким образом, молитва императора, войска, подданных на Дворцовой площади отсылала и к памяtnому событию николаевского царствования.

30 августа стояло, согласно Бенкендорфу, «такое **глубокое безмолвие**, что слова молитвы можно было расслышать на всех концах площади» [Бенкендорф 1834: 555]. Ему вторил автор статьи, помещенной в «Военном журнале»: «Священный трепет объял всех: на обширном пространстве, покрытом сотнями тысяч, царствовала **глубочайшая тишина**» [Военный журнал: 149]. Жуковский также подчеркнул: «И в этой **тишине** всем слышная молитва...» [Жуковский 1902: X, 30]. Бутовский резюмирует всеобщее ощущение: «...воцарилась **торжественная тишина**» [Бутовский: 21]. Разумеется, мы имеем дело с «риторической» тишиной — в тек-

⁴⁹ События декабря 1825 г. описывались как нарушение и восстановление тишины / привычной гармонии. Деменков писал: «13 декабря, в часу в двенадцатом вечера, возвращаясь из гостей домой и идучи по Большой Морской, заметил я какую-то **особенную, необычайную тишину** <...> предчувствие, что готовится что-то небывалое для обширной и многолюдной столицы» [Деменков: 258]. О первой ночи после восстания англичанин вспоминал: «Ночью в городе царил **полная тишина**, нарушаемая лишь откликами часовых и говором солдат, гревшихся вокруг костров» [Записки англичанина: 262]. В риторике описаний николаевских праздников, особенно военных, сопряжение мотивов мирной тишины и военной репрезентации стало их отличительной чертой, что обусловило, в итоге, один из конфликтов между Жуковским и членами императорской семьи на Бородинской годовщине 1839 г.

сте, а не на площади, где скопление многих тысяч людей не могло обеспечить беззвучия.

Молитва с коленопреклонением и отмеченная всеми «тишина» — эти мотивы связывали день восшествия на престол Николая I и открытие колонны 1834 г., но и подчеркивали контраст между эпохами: закончилась «тишина самая печальная и беспокойная», настала «торжественная тишина»⁵⁰. События 1825 г. в сценарии торжества 1834 г. как бы трансформировались, «очищались», описания праздника 30 августа создавали условный, но «правильный» вариант дня восшествия на престол Николая I.

Вспомним также, что 14 декабря в первые минуты, даже часы восстания некоторые очевидцы, видевшие армейские части на площадях города, не понимали смысла происходящего. По свидетельству князя А. Н. Голицына, «старики <...> находили странным, что **Государь вздумал делать развод или парад**» [Голицын: 376]. Графиня А. Д. Блудова вспомнила рассказ слуги Гаврилы: «Говорят, большой **парад** у Исакия», — сказал он; «с утра все шли полки, а теперь пройти нельзя; что-то долго **новый Государь смотрит войска**». <...> «Ученье что-ли?» прибавил он, «стре-

⁵⁰ Риторика торжества 30 августа 1834 г. развивала поэтические образы и историко-философские интенции, заложенные в начале николаевского царствования, в 1825–1826 гг. Ср. стихотворение М. П. Погодина «Тишина на море и счастливое плавание» (опубликованное в 1826 г.):

Тихо, мрачно над водою,
Море бурное молчит,
Смотрит кормчий вдаль с тоскою,
Вод равнина всюду спит.
Ветры веять перестали,
Мертвый, страшный вокруг покой,
В беспредельной синей дали
Взор не встретится с волной.
Разносятся тучи,
Туман исчезает,
И ветры могучи
Шумят на водах.
Пловцы **веселее!**
Торопится кормчий,
Скорее, скорее!
Волной нас качает,
Земля к нам несется,
Уж берег в глазах

[Уралия: 155].

В сценарии праздника 1834 г. открытие Александровской колонны стало символическим действием, рассеявшим тучи и приблизившим землю. В итоге, Россия превратилась в Святую Русь (см. стихотворение Грена «Чувства юноши при виде памятника императору Александру Благославленному», опубликованное в «Русском инвалиде» [Грен]).

ляют”. <...> Гаврила опять пришел <...>. “Матушка Анна Андреевна, — говорят, **бунт**”» [Блудова: 194]. Однако вскоре этот мотив трансформировался. Так, И. М. Евреинова вспоминала о поведении царя на Сенатской площади: «Ни малейшего смущения не приметно было на его лице; без всякой торопливости, **точно как на обыкновенном ученье, распорядился он диспозициею войск...**» [Евреинова: 213]. Вечером в городе разожгли костры, поставили караулы. Деменков писал: «Огни эти живо напоминали военное время и столь памятные нам зимние биваки 1808, 9, 12 и 13 годов; но как-то странно, даже **грустно** было видеть **все это в центре столицы и вблизи дворца**, где мы привыкли лишь к **мирным разводам и блестящим парадом**» [Деменков: 266]. Итак, скопление армии в городе ассоциировалось или с бунтом 14 декабря (с атмосферой хаоса и «войны»), или с парадом (с мирной и гармоничной жизнью).

30 августа 1834 г. было организовано грандиозное военное действие, в котором приняло участие 120 тысяч солдат и офицеров (одна десятая от общего количества русской армии). В начале торжества император объехал войска. Открытие Александровской колонны завершал церемониальный марш. Жуковский отметил, что «два часа продолжалось сие великолепное, единственное в мире зрелище» [Жуковский 1902: X, 31]. Николай I лично командовал парадом — эта деталь была особо выделена всеми очевидцами.

Формирование идеального образа императора-полководца началось в придворных рассказах о 14 декабря. 16 декабря Бенкендорф писал М. С. Воронцову: «Он <Николай I> был великолепен; <...> это был император, **полководец**. <...> Одним словом, высочайшие особы показали себя достойными власти, и если бы этот род не занимал трона, его следовало бы на него возвести» [Воспоминания очевидцев: 103]. В описании государь своими качествами воина (а не человека) доказал свое право на престол⁵¹.

Торжество 30 августа и в этом отношении составляло контраст событиям 14 декабря. Тогда отдельные полки бунтовали, и Николаю пришлось лично вести преображенцев с Дворцовой площади к Сенату, на свой страх и риск. Теперь вся армия была предана воле императора. По словам Жуковского, «это был не шум, не гул, не звук, но тяжкий, мерный, потрясающий душу шаг, **спокойное** приближение силы, непобедимой и в то же время **покорной**» [Жуковский 1902: X, 31].

⁵¹ Один из авторов, описывавших торжество 30 августа 1834 г., — Добелл возвысил именно образ Николая I — воина против крамолы: «Он есть тот земной Владыко, коего Господь укрепил и возвысил, с тем, чтобы Он положил предел кровавому потоку неверия и разврата <...> Монархи Российские были избранные воины Всемогущаго, что они доблестно сражались за правое дело и торжественное стяжали крест Христов, ополчась на вольнодумство и безбожие» [Добелл: 3–4].

Риторика и образы, в которых был осмыслен и описан праздник 30 августа, как бы возвращали России торжественную тишину и спокойствие⁵². Открытие Александровской колонны восстановило, с точки зрения современников, нарушенный миропорядок и ход времени.

Праздник 30 августа, по мысли организаторов, должен был стать демонстрацией «клеветникам России» ее силы и «проверкой» верноподданных чувств армии и народа. Торжество по случаю открытия Александровской колонны превращалось как бы в альтернативный — славный — вариант восшествия Николая на престол⁵³. Свои впечатления Жуковский резюмировал словами: «И действительно, то, что мы видели в этот чудный день, было не одно торжество кратковременное, но **все наше минувшее**, вдруг перед нами повторенное» [Жуковский 1902: X, 31].

Статья Жуковского «Воспоминание о торжестве 30 августа 1834 г.» была опубликована в «Русском Инвалиде» в рубрике «Современная история» в воскресенье 9 сентября⁵⁴. Тем самым статья получила статус программной — манифестации идеалов и целей современного, николаевского, и будущего, александровского, царствований, т.к. 30 августа было днем тезо-

⁵² Ср. генерал-лейтенант Михайловский-Данилевский писал о 14 декабря: «Когда я вступил в военную службу в 1812 году, то **гроза** висела над Россиею <...>; потом четырнадцать лет к ряду я видел Россию, торжествующую под скипетром Александра, но лишь только его не стало, как вспыхнули крамолы, <...> нельзя было воображать, чтобы в нашем отечестве **тишина** и **спокойствие** были нарушены» [Шильдер 1890: 489].

⁵³ Открытие Александровской колонны стало первым грандиозным николаевским торжеством, организованным, к тому же, после смерти в 1831 г. брата Константина Павловича (с мнением которого Николаю приходилось считаться в первые годы царствования). События 1825 г. и 1834 г. сближает другой памятный день — коронация Николая I 22 августа 1826 г. В связи с этим приведем интересное свидетельство Н. И. Голицыной, вспомнившей шутку императора в день коронации. Прекрасная погода начала портиться, «тогда Константин сказал государю: — Кажется, будет гроза. — Я ее не боюсь, — отвечал Государь, — ведь рядом ты, мой громоотвод» [Голицына: 142].

Подчеркнем еще раз ту важную роль, которую играли «метеорологические» образы — грозы, света-тьмы при осмыслении сложных отношений двух братьев, ставших причиной междуцарствия и поводом к выступлению декабристов.

⁵⁴ В «Северной пчеле» статья была опубликована 8 сентября, т.е. в годовщину Куликовской битвы. Интересно, что болгаринская газета часто перепечатывала позже материалы официальной газеты. Крайне осторожно выдвинем объяснение промедления «Русского инвалида». Напомним, что бунт 14 декабря пришелся на понедельник. Николай I в «Записках» сетовал: «Был 1-й час и понедельник, что многие считали дурным началом» [Николай I: 53]. И. Г. Головин иронизировал: «Четырнадцатое декабря 1825-го года было понедельник, потому, вероятно, и бунт, и царствование Николая Павловича не удались» [Воспоминания очевидцев: 466]. Публикация статьи Жуковского в воскресенье, таким образом, могла получить дополнительный, религиозно-символический смысл.

именитства и покойного государя Александра I, и цесаревича Александра Николаевича, совершеннолетие которого было отпраздновано на Пасху 17 апреля 1834 г.

Насколько содержание статьи Жуковского отвечало официальным интенциям — это отдельный вопрос. Поэт писал:

...дни боевого создания для нас миновались <...> наступило время *создания мирного* <...> период развития внутреннего, твердой законности, безмятежного приобретения всех сокровищ общежития <...> [Россия] готова произрастить богатую жатву гражданского благоденствия, вверенная самодержавию <...> коего символ ныне воздвигнут перед нею царем ее в лице сего крестоносного ангела, а имя его: *Божья Правда* [Жуковский 1902: X, 31–32]⁵⁵.

Программа Жуковского не противоречила установкам официальной доктрины «самодержавие–православие–народность». Однако оценка современной истории России у него и у круга Николая Павловича была различной.

Постоянно обращаясь к одному и тому же идеологическому комплексу наступления «прекрасной эпохи» (в 1826, 1829, 1834 и затем в 1839, 1848 гг.), Жуковский, тем самым, как бы свидетельствовал, что эта эпоха *еще* не наступила, что государь по-прежнему лишь подает надежды (верить в осуществление которых поэт искренне желал).

Характерно, что в 1834 г. Жуковский опубликовал для узкого (придворного) круга сочинение «Черты истории государства Российского», в котором проанализировал причины разрушения древнерусского государства и сформулировал (все те же) правила для монарха и его народа, соблюдение которых создало (создаст — в контексте современной николаевской эпохи) будущую славу России. Как мы уже отмечали, попытка опубликовать в 1836 г. этот текст для широкой публики закончилась провалом. В своем отзыве Дубельт также сетовал на то, что «сочинитель статьи останавливается и, описав темные времена быта России, не хочет говорить о ее светлом времени, — жаль!» (цит. по: [Бычков: 596]). («Черты Истории» заканчивались началом татарского ига на Руси и, тем самым, не вписывались в картину «наступившей прекрасной эпохи»). В 1836 г., когда «все повествует нам о нынешнем благосостоянии России» [Лебедев: 23], произошла известная история вокруг первого философического письма Чаадаева (см.: [Рейфман]).

⁵⁵ Историософский фрагмент из статьи Жуковского уже становился предметом научной рефлексии (см.: [Осват, Тименчик], [Проскурин: 284–293], [Киселева 2001]). Свою идею о государственной пользе мирного развития поэт выразил в «Очерках Швеции», что, возможно, определило отбор и подачу материала. По мнению Л. Н. Киселевой, «в связи со Швецией поэт стремится рассуждать не о воинственном прошлом, а о мирном настоящем и будущем. <...> В подтексте «Очерков» остается мысль, что Швеция, отказавшаяся от завоевательной политики, может стать своего рода примером для России» [Киселева 2001б: 162].

Устроенный в 1834 г. праздник был приурочен и к 20-летней годовщине победы России над Францией, к событию, с которым связывалось представление о начале новой, мирной эпохи благоденствия⁵⁶. Ив. Кованько уже в 1812 г. в «Оде на бегство Наполеона...» предчувствовал: «Но се уж близок **век златой**; / Он в наших громах зародился» [1812: I, 71]. Торжество 1834 г. призвано было символически продолжить «прекрасную эпоху», прерванную бунтом 1825 г., войнами, революционными событиями в Европе и Польше. В. Олин в книге «Картина Восьмилетия России с 1825-го по 1834-й год» радостно утверждал: «На что для других Монархов нужно было по малой мере полвека, то Великий Государь наш совершил в восемь лет». В заключение автор риторически спрашивал: «... наконец все царствования грядущие составят для России единый непрерывный и златой век благодатного для нас царствования Николая Павловича?» [Олин: 61; 64].

Торжество 30 августа 1834 г. воспринималось как точка отсчета «нового времени». Жуковский искренне хотел увидеть наступление «золотого века» (вспомним балладу «Элевзинский праздник»). Но поэт понимал неосновательность такого взгляда — и продолжал, немного варьируя и дополняя, повторять Николаю I свою программу царствования, предложенную еще в 1826 г. В статье «Воспоминание о торжествах 30 августа 1834 г.» Жуковский не перечислил достигнутых в николаевское царствование завоеваний, не констатировал наступления «чудного мгновенья». Авторская историософская мысль была динамична и направлена в будущее — на необходимость *продолжения* внутреннего созидания.

Другими словами, Жуковский претендовал на роль архитектора николаевской идеологии, а ему отвели место певца в официальной культуре. Это обстоятельство, в конечном итоге, обусловило ряд его идеологических и риторических «промахов».

§ 3. От мифа к мифу: поэт и торжества 1839 г.

*Они ошибаются также и оттого, что
слишком слабо чувствуют те истины,
в которых уверены рассудком*

[Жуковский 1827: III, 206].

17 декабря 1837 г. цесаревич Александр Николаевич и его наставник Жуковский вернулись в Петербург из путешествия по России — прямо, как оказалось, на пожар Зимнего дворца. По поводу происшествия поэт написал статью «Пожар Зимнего дворца», отвергнутую цензурой, хотя в ней

⁵⁶ См. характерное четверостишие молодого И. С. Тургенева: «Сей памятник огромный горделивый / Благословенному поставлен был / И Николая век счастливый / Собою сам ознаменил» [Тургенев: 297].

Жуковский был преисполнен оптимизма, веры в союз царя и его подданных и не сомневался, что все «скоро возобновится в новом блеске» [Жуковский 1902: X, 70].

3 мая 1838 г. наследник вместе со своим наставником отправились в заграничное путешествие, из которого вернулись 23 июня 1839 г. 27 июня Жуковский уже осмотрел отстроенный после пожара дворец.

Николай I сдержал свое слово. 25 марта 1839 г., в Великую Субботу, Зимний дворец был освящен, а 26 марта в нем была отслужена пасхальная обедня. По поводу торжественного события официальная газета «Русский инвалид» опубликовала стихотворение некоего Бобылева:

Рек Николай: да будет он!
И бысть Могучая Держава
Царю воздвигла новый трон:
Ему подножьем слава!
Сказал: хощу! и в миг один ...
[Бобылев].

Официальное описание освящения Зимнего дворца риторически продолжило торжества по поводу открытия Александровской колонны. Так, в 1834 г. «Русский инвалид» опубликовал стихотворение М. Поднебесного «На сооружение памятника Александру Благословенному»:

Царь повелел, и — исполины
Гранитну гору в град Петров
Несут чрез Невские пучины.
Он рек, и — в области громов
Возносят к небесам во граде
[Поднебесный].

Созданные на разные случаи тексты Поднебесного и Бобылева интонационно и тематически напоминали друг друга, авторы особо педалировали тему всемогущей власти царя и силы народа, исполняющего монаршую волю⁵⁷.

⁵⁷ Некий Колокольцов вспоминал после пожара Зимнего дворца: «Только и чувствовалось всеми и каждым, при произнесении единого слова государем, полнейшая готовность на всякое сверхъестественное предприятие» [Колокольцов: 338]. Ср. с другими текстами 1834 г. В «Военном журнале» утверждали, что колонну доставили в Петербург «с невероятными трудами и усилиями, которые могли быть преодолены только Русским усердием, неустрашимостью и сметливостью» [Военный журнал: 144]. Автор другого сочинения не сомневался, что «подобные работы, без сомнения, в силах выдержать только наш Русский народ, изумляющий вселенную силою, постоянством и неутомимостью» [Монумент Александру: 27]. Благодарный народ создал памятник царю (не только Александру I, но и Николаю I). Тукалевский восклицал: «Громада камня, рожденная веками, / <...> / И силе Россиян безмолвно уступая, / Возвысила главу пред домом Николая» [Тукалевский].

В другом номере «Русского инвалида» 1839 г. появилась статья «Беглый взгляд на возобновленный Зимний дворец» (за подписью С. Н.). Неизвестный автор, проведя параллель между Петром I и Николаем I⁵⁸, поделился своими историческими рассуждениями, которые напоминали общие места статей по поводу торжества 30 августа 1834 г. и официальных сочинений в целом⁵⁹:

... кажется, что Петр еще жив между нами, что еще печется о славе и могуществе России, блюдет наше спокойствие, созидает грады и флоты, и как железною стеною ограждает нас непобедимым войском своим от всякого покушения вражды и зависти! [Беглый взгляд].

Восстановление Зимнего дворца на Пасху — это, с официальной точки зрения, безусловный апофеоз монаршей воли и верноподданнической любви к царю, сакрализация существующего русского мироустройства. Новый старый дворец — это очередное подтверждение непрекращающейся, возрастающей с петровских времен славы и величия России. Это — второй (после Александровской колонны) символ наступления «прекрасной поры».

Итак, весенние торжества 1839 г. идеологически и риторически вписывались в общий, заложенный 30 августа 1834 г., праздничный сценарий власти, одним из архитекторов которого был и Жуковский. И вот как раз это последнее обстоятельство самым неожиданным образом отразилось на тех впечатлениях, которые сложились у поэта после посещения отростренного Зимнего дворца. В сделанной для себя дневниковой записи Жуковский предстал не сочинителем панегирика, а разрушителем государственного мифа:

Дворец, чудно воздвигнутый снова в один год: совершенный образец России; огромно, без точности, без общей связи, выражение одной общей воли, которая, повелевая, рабствует. Во всех мелочах отражает тот характер, который дал России Петр Великий: *Скорей во что бы то ни стало. Мы не едем вперед*, а скачем от пункта к пункту, вперед ли, назад ли, все равно [Жуковский: XIV, 179].

Главные темы официальных текстов (отношения между монархом и подданными, петровский миф) освещены поэтом с совершенно иной и совсем

⁵⁸ Об образе Петра в литературе николаевской эпохи см. в статье А. Л. Осповата и А. Б. Рогинского «Историческая проза и государственный миф» [Осповат, Рогинский].

⁵⁹ Ср. с тезисами некоего Лебедева, автора «Правды русского гражданина» (СПб., 1836): «Заря Российского величия, славы, могущества и гражданского благосостояния, воссиявшая в царствование Петра Великого, в течение слишком ста лет, распространяя благодетельные для народа лучи свои, во всем блеске разлилась ныне над горизонтом единственной в мире, и в летописях веков, Империи» [Лебедев: 1].

не оптимистической точки зрения⁶⁰. Летом 1839 г. внутренний взгляд Жуковского на русскую историю, на перспективы современной России был пессимистичным.

Прорвавшийся в дневниковой записи негативный взгляд — это, с одной стороны, отражение разочарований, которые испытывал Жуковский после образовательных путешествий с наследником престола; а с другой — это человеческая реакция поэта на обвалы потолков, а также на сведения о числе умерших при восстановлении дворца работников. Впечатления от посещения Зимнего дворца обострили внимание Жуковского к поведению государя и цесаревича по отношению к подданным, которое ярко проявилось во время празднования Бородинской годовщины.

Августовские торжества 1839 г. стали заключительным аккордом в праздничном сценарии 1830-х гг., посвященном прославлению русской монархии и армии⁶¹. Очередная Бородинская годовщина не являлась юбилейной и как будто не должна была превратиться в грандиозное празднество. К тому же две юбилейные даты — 20-летие взятия Парижа и 25-летие Бородинской битвы — были уже широко отпразднованы в 1834 и 1837 гг. Но летом 1837 г. наследник престола во время своего ознакомительного путешествия посетил памятные места Бородинского сражения

⁶⁰ В составленной для великого князя тетради «О самодержавии» содержится 16 отрывков. Только в первый фрагмент поэт внес редакторскую правку: «Один русский народ понимает самодержавие! [Но понимает ли русский самодержец что такое самодержавие? Но другой вопрос. Русские цари все до Петра не исключая и Иоанна В. понимали его и даже действуя во вред ему]» [О самодержавии]. Подчеркнем: несмотря на острые конфликты с императором, Жуковский, однако, не решался перейти определенной идеологической границы, за которой он уже переставал быть исключительно верноподданным оппозиционером. По этой причине острый фрагмент был им зачеркнут.

⁶¹ Напомним хронику этих торжеств: в 1832 г. возобновились прерванные работы по сооружению храма Христа Спасителя; 30 августа 1834 г. была открыта Александровская колонна. «В том же, 1834 г. в Петербурге и Москве возводятся Триумфальные арки в честь успехов русских армий в Отечественной войне, а в 1837 г. перед Казанским собором устанавливаются памятники Кутузову и Барклаю-де-Толли. <...> В 1835 г. пресса извещает о «высочайшем повелении» «воздвигнуть монументы на главнейших полях сражения вечно достопамятного 1812 года» и с этой целью объявляется публичный конкурс. Свидание в августе — сентябре 1835 г. в Калише Николая I с австрийским императором и прусским королем <...>», совместные маневры русских и прусских войск, закладка «памятника русской гвардии, участвовавшей в Кульмском сражении. В августе 1837 г. уже непосредственно по случаю 25-летия Отечественной войны <...> на юге России, близ Вознесенска, при скоплении колоссальных масс войск, в присутствии царской семьи, высшего генералитета, дипломатов проводятся столь же демонстративные маневры, долженствовавшие напомнить Европе о русских военных традициях эпохи 1812 г.» [Тартаковский: 200–201].

и был огорчен увиденной картиной. Цесаревич поделился своими грустными наблюдениями с императором:

Вообще жалко смотреть, как у нас мало обращают внимания на сохранение всего того, что имеет какое-либо историческое воспоминание и предание <...> надобно, по крайней мере, чтобы высшее начальство обратило на это свое внимание и строго запретило трогать и уничтожать все то, что имеет какое-либо воспоминание [Венчание с Россией: 98].

Размышления сына, по-видимому, подтолкнули Николая I или укрепили в нем идею организовать еще одни грандиозные торжества, приуроченные к годовщине Отечественной войны. Государь подарил великому князю Бородинское Село, что послужило поводом именовать Александра Николаевича «Бородинским помещиком».

1839 год оказывался очень выгодным именно для чествования побед русских войск. 19 августа 1839 г. исполнилось сто лет со дня взятия русскими войсками Хотина. 26 августа праздновался памятный день Бородинского боя. На 9 сентября, на день рождения великого князя Константина Николаевича, пришлось воспоминание о победе на Куликовом поле. В 1839 г. отмечался также 25-летний юбилей со дня входа русских войск в Париж. Бородинские торжества 1839 г. выстраивались, таким образом, на дополнительном идеологическом фундаменте — на исторических пересечениях с датами из военного календаря.

Жуковский приехал в Бородино, по-видимому, 25 августа. 26 августа был открыт Бородинский памятник и совершена тризна. 27 августа поэт уехал в Москву, по дороге сочинил стихотворение «Бородинская годовщина» и обдумывал письмо к великой княгине Марии Николаевне. Опубликованные в «Современнике», эти два текста стали известны широкой публике. В читательской памяти стихотворение Жуковского «Бородинская годовщина» актуализировала его тексты эпохи 1812 и 1831 гг.

Вечером 26 августа 1839 г., после открытия памятника, многие из участников торжеств читали стихотворение «Певец во стане русских воинов». В отличие от текста 1812 г., начинавшегося строкой «На поле *бранном* тишина» [Жуковский: I, 225], «Бородинская годовщина» 1839 г. провозгласила окончательное примирение, наступление гармонии: «А теперь их тишина, / Небом полная, объемлет» [Там же: II, 321].

В стихотворении вслед за воспоминанием о сражении и его участниках Жуковский перечислил победы нового императора, подчеркнув, тем самым, неиссякаемую мощь русского царя и армии:

Много с тех времен, столь чудных,
Дней блистательных и трудных
С новым зрели мы Царем
[Там же: II, 320].

Для поэта слава николаевского оружия стала частью общей истории русской доблести. Николай I как продолжатель александровской военной славы

подтвердил, таким образом, право на законную преемственность престола. Перечисление военных достижений при Николае Павловиче предшествует описанию праздничного молебна на Бородинском поле. Тризна по павшим воинам поставила, по Жуковскому, точку в военной истории России. Обратим внимание на заключительные (посвященные николаевской эпохе) строки стихотворения:

В память северных орлов,
Русский сторож на Босфоре,
Отразься в заветном море,
Мавзолей наш говорит:
«Здесь был Русский стан разбит»
[Жуковский: II, 321].

История повторилась и закончилась, так как «заветная» историческая цель была достигнута. Идея о наступлении окончательного мирного времени организует композицию стихотворения. В центральной части текста поэт выстроил окончательный пантеон участников Отечественной войны (начало ему было положено в «Певце во стане русских воинов» в 1812 г.)⁶². Таким образом, был подведен итог периода «боевого создания». Не случайно во второй части письма к великой княгине Жуковский процитировал заключительный, историософский отрывок из своей программной статьи об открытии Александровской колонны: «...завоевательный меч в ножнах <...> наступило время создания мирного» [Жуковский 1902: X, 31]. Для широкой публики Жуковский, таким образом, подтверждал свою репутацию приверженца официальной идеологии — но только частично.

Как мы уже отмечали, «метеорологические» образы (гроза/тучи ↔ солнце) активно использовались в описаниях дня открытия Александровской колонны. Данная риторика (хотя в меньшей степени разработанная) характерна и для сюжета о Бородинском празднике. Булгарин поместил в «Северной пчеле» некое «Солдатское письмо», в котором сообщалось о торжестве 1839 г.: «День был светлый, солнышко однако ж не выглядывало, но лишь Святые иконы <...>, Государем Императором встречанные, приблизились к памятнику, оно показалось и спряталось опять. После панихиды начался молебен, а когда Царь и все каре стали на колени, солнце снова во все небо просияло. Чудная, беспримерная, брат, была картина!» [Солдатское письмо: 1008]. Для нас важно подчеркнуть два аспекта: первый — описание праздника 1839 г. словесно разрабатывалось по модели описаний торжества 30 августа 1834 г. и, тем самым, как бы подтверждалось наступ-

⁶² Примечательно, что Жуковский вслед за пушкинским «Полководцем» реабилитировал опального Барклая: «Где герой, пример смиренья, / Введший рать в Париж, Барклай?» [Жуковский: II, 318] (см. о репутации Барклая и о стихотворении Пушкина: [Вацуру, Гиллельсон], [Гартаковский 1996]). Для нас здесь важно подчеркнуть, что Жуковский выделяет в Барклае качества не воина, а именно человека.

ление всеобщего благоденствия. Второй аспект касается непосредственно Жуковского, который в описании праздника 1839 г. не полностью использовал известный риторический арсенал.

Выбор поэтом знакового названия — «Бородинская годовщина» — актуализировал в сознании современников тексты Пушкина и самого Жуковского 1831 г. После подавления польского восстания вышла книжка «На взятие Варшавы» с тремя стихотворениями, авторами которых были Пушкин («Клеветникам России», «Бородинская годовщина») и Жуковский («Старая песнь на новый лад»).

В седьмом томе «Сына Отечества» 1838 г. было опубликовано стихотворение С. И. Стромиллова «Завистникам России». Характерное название текста отсылало к известному «польскому» стихотворению Пушкина. Приведем важные для нашего сюжета строки из текста 1838 г.:

Русский Царь премудр — державой <...>
Он дрожать заставил свет.
Он могуч: одно лишь слово —
Встанут вмиг леса штыков <...>
Что ж вам надо? Ваши крики
Уж ни чуть не страшны нам,
И у Русского Владыки
Есть на все ответы вам!

[Стромиллов: 95–96]

Царская власть, опирающаяся на военную мощь как средство обращения с западными «витиями»-«завистниками», — такой образ «росса» активно разрабатывался в текстах, приуроченных к Бородинскому торжеству 1839 г. Ф. Менцов, автор стихотворения «Певец, к славянам перед отъездом на войну», выделил воинственность как главное достоинство славянина:

Славяне, настала пора отправления!
Давно уже ратные кони вас ждут! <...>
Себе отобьем мы — вина и коней,
Вам — камни драгие, узорные ткани ...

[Менцов: 95–96].

Трудно однозначно установить событие, на которое намекает автор. Речь могла идти, например, о продолжавшейся кавказской войне, косвенно вписавшейся в канву Бородинской годовщины. 23 августа 1839 г. войсками генерал-лейтенанта П. Х. Граббе была одержана важная победа — был взят аул Ахульго. Подчеркнем, что увлечение военной риторикой, незаметно для автора, искажало образ русского воина. Солдат из стихотворения Менцова наделен чертами не защитника отечества, а, наоборот, завоевателя-разбойника, война для которого стала образом жизни, источником дохода.

Другой яркий пример воинственной лирики — стихотворение А. Якубовича «Герой», напечатанное в «Журнале для чтения воспитанникам военно-учебных заведений» за 1839 г.:

«О, дайте саблю мне! я не хочу покоя!

Я не хочу влачить бездействия оков!

Я жажду бурь и имени героя!

И жить хочу воинствен и суров!»

Услышаны его желанья и молитвы:

Уже под знаменем Румянцева герой,

Дитя побед и бурь, любимец грозной битвы,

Он, как на пир летит из боя в новый бой

[Якубович: 371–372].

Посвященные Бородинскому торжеству «манифесты» Жуковского о конце эпохи военной славы не вписывались в главный официальный сценарий праздника, который должен был продемонстрировать, прежде всего, военное превосходство и силу русских войск.

Напомним, что в ночь на 17 августа 1839 г. император прибыл в Бородино и в течение десяти дней наблюдал за военными учениями, в которых участвовало около 140 000 солдат и офицеров. 29 августа была устроена инсценировка Бородинского сражения.

Жуковский был убежден, что провозглашенная новая эпоха — это время мира. В 1800 г., год спустя после завершения Итальянского похода, он создал стихотворение «Мир»: «Но стой, Росс! опочий — се новый век грядет! / Он мирт, не лавр тебе приносит» [Жуковский: I, 40]. Зрелые размышления поэта продолжали его собственные ученические опыты. Не случайно в стихотворении «Русская слава» (1831), написанном после разгрома польского восстания, он выделил слова *«Нам времена являй иные»* [Там же: II, 225]. Хотя мысль Жуковского постоянно двигалась по кругу и не являлась оригинальной, его «миротворческие» тексты, на фоне «военных» произведений 1839 г., приобретали неожиданную полемическую заостренность.

В конце стихотворения «Бородинская годовщина» поэт, как отметил Н. Серебренников, перефразировал царский манифест, содержание которого вызвало неудовольствие у французского посла Баранта. Разгоревшаяся вокруг слов Николая I полемика показала, что время всеобщего примирения еще не наступило⁶³. Жуковский не упомянул в письме к Марии Ни-

⁶³ Бородинская годовщина встривалась в актуальнейшие дипломатические баталии. Входивший в прусскую свиту подполковник Гагерн оставил интересное свидетельство: «14 сентября <по новому стилю>. Во время моего пребывания в Бородино, в день Александра Невского, 11 сентября, случилось обстоятельство, обратившее на себя всеобщее внимание и о котором я забыл упомянуть. После парада император подозвал английского посла лорда Clanricarde и проговорил с ним добрых полчаса, хотя в отдалении, но на глазах собравшейся

колаевне о вызвавшем скандал приказе императора, что было, возможно, неслучайно. Поэт стремился сохранить идеальный взгляд на Бородинское торжество как на (очередное) начало новой эпохи.

Пробыв на торжествах только один день, Жуковский уехал в Москву и 29 августа написал письмо к цесаревичу, в котором поделился своими впечатлениями по поводу открытия 26 августа Бородинского монумента. Рассказ о своих впечатлениях поэт закончил напоминанием Александру Николаевичу о том, что «человек во всяком сане есть главное». Эти слова поэта восходят к его программному посланию «Императору Александру» (1814). Схожая мысль была выражена поэтом и в послании «Государыне великой княгине Александре Федоровне на рождение в.кн. Александра Николаевича» (1818), отрывок из которого поэт процитировал в письме к великой княгине⁶⁴. Подчеркнем, что в послании «Императору Александру» монарха-человека характеризует особое отношение к войне:

толпы. Можно было заметить, что разговор шел о важных делах и велся с обоюдным удовольствием. Это подало повод к разного рода догадкам, тем более, что было известно, что в настоящее время император крайне недоволен Францией и ее политикой на Востоке.

При этом случае я разговаривал с одним очень компетентным лицом, уверявшим меня, что у императора Николая есть своя *idée fixe* — **войти еще раз в Париж во главе войск, подобно брату своему Александру**; *quod deus avertat*, так как дорога туда идет через Германию. Николай Павлович питает сильную ненависть к Луи-Филиппу и его политике» [Гагерн: 3].

Почти через год, 3 июля 1840 г. между Россией, Австрией, Пруссией, Великобританией была заключена Лондонская конвенция об оказании помощи турецкому султану против египетского паши. Документ был подписан без участия Франции, против восточных интересов которой направлялось соглашение.

⁶⁴ Обратим внимание на строки, следующие после микроцитаты из послания «Императору Александру»: «Вот правила царей великих внуку / С тобой ему начать **сию науку**» [Жуковский: II, 98]. В контексте 1839 г. «сия наука» прочитывалась однозначно как «наука царская». Текст Жуковского получил новый смысл. В читательском сознании создавалось представление, что 17 апреля 1818 г. родился не просто великий князь, а наследник, будущий государь. Не случайно в письме к великой княгине по поводу Бородинской годовщины Жуковский определил послание 1818 г. как «поэтическое пророчество», которое уже сбывается. Это позволяло говорить о Божественном замысле, согласно которому и Николаю, и его сыну было суждено царствовать. Характерна следующая фраза С. С. Татищева, автора первой серьезной биографии Александра II: «В послании к августейшей материи Жуковский <...> приветствовал рождение царственного отрока, в котором **тогда уже видели** наследника престола...» [Татищев: 10]. В 1818 г. случайно, но в 1839 г. осознанно Жуковский формировал государственный миф, который служил идеологической защитой и обоснованием николаевской власти.

И ты средь плесков сих — **не гордый победитель** <...>
Хвала! Хвала, наш Царь! Стыдливо отклоняет
Рука Твоя побед торжественный венец!

[Жуковский: I, 367; 372; 374]

Не героизация воина, а воспевание человеческой (христианской) добродетели в государе — в этом заключается задача поэта. Главный сюжет послания — описание поэтом молитвы монарха. Не случайно, что Жуковский в стихотворении «Бородинская годовщина», в письмах к членам императорской семьи не привел сцены приема царем парада. Поэт изобразил Николая Павловича как государя-человека, участника всеобщего молебна на Бородинском поле, символом которого стал крест, венчающий монумент⁶⁵.

В отличие от описания Жуковского, в центре рассказа о Бородинском празднике офицера Мещерского были как раз военный парад и государь-полководец: «В это время Государь Николай Павлович перед своей **грозной** армией действительно изображал собою одного из тех легендарных героев-великанов, которых все воинственные народы любят воспевать в своих народных песнях. Лучше сказать: Государь Николай Павлович в эту минуту представлял собою по истине идеальный тип Царя могущественной державы в Европе, каким он в то время и был в действительности» [Мещерский: 494].

В своем описании торжества Жуковский не объединил, а столкнул, не нарушив рамок официальной идеологии, две концепции: монарха-человека и монарха-воина. Именно на этой антиномии построена композиция письма Жуковского к цесаревичу от 29 августа, когда был инсценирован Бородинский бой.

В тот день возглавлял войска генерал Паскевич, но в командование постоянно вмешивался император⁶⁶, активно участвовал и великий князь Александр Николаевич.

⁶⁵ Образ креста в «Бородинской годовщине» появляется дважды, в начале и в конце стихотворения: «Всех решитель браней — крест. / <...> И сияет перед ратью / Крест небесной благодатью» [Жуковский: II, 317; 321]. Образ креста отсылает, в том числе, к Александровской колонне, увенчанной фигурой ангела с крестом. Бородинский памятник, по-видимому, проектировался как уменьшенный вариант монумента на Дворцовой площади: «На самой возвышенной местности, в центре самой батареи Раевского <...> поднимается **колонна** в византийском стиле, **увенчанная крестом**» [Голицын 1891: 105]. Связь между торжествами 1834 и 1839 гг. подчеркивалась на разных уровнях.

⁶⁶ Гагерн отметил: «Император вмешивается во все, и хотя при самом начале маневров и говорил, что предоставляет все генералам, но не пройдет и часа, как он фактически принимает командование на себя; *c'est plus fort que lui*» [Гагерн: 3]. Николай Павлович так увлекся, что приказал русским войскам перейти в символическую атаку.

Напомним, что 1839 год — это время окончания цесаревичем курса обучения (осенью он начал посещать Сенат). Бородинское торжество стало демонстрацией наследником престола своей готовности к царскому званию. Экзамен на государственную зрелость заключался для него теперь в проявлении перед русским войском и иностранными представителями способности командовать армией. Единение цесаревича с русским войском стало кульминацией преподававшейся ему «царской науки».

Настроение своему воспитаннику подпортил, однако, его наставник В. А. Жуковский, писавший:

... мне было жестоко больно, что ни одного из этих главных героев дня я после не встретил за нашим обедом. Они, почетные гости этого пира, были забыты, воротятся с горем на душе восвояси, и что скажет каждый в стороне своей о сделанном им приеме, они, которые надеялись принести в свои бедные дома воспоминание сладкое, богатый запас для рассказов и детям, и внукам? [Жуковский 1885: VI, 402]

Чтобы загладить оплошность, поэт предложил отлить памятную медаль, а в день тезоименитства цесаревича или закладки храма Христа Спасителя раздать, по крайней мере, ленточки к будущей медали. Он добивался, таким образом, проявления человеческого участия со стороны цесаревича в судьбе хотя бы приглашенных ветеранов. На Бородинском празднике Жуковский также хотел увидеть проявление высоких чувств и в императоре-человеке. Главной характеристикой, определяющей сущность монарха, должно было стать его человеческое отношение к простым подданным, с одной стороны, и к политическим оппонентам — с другой. В письме к цесаревичу Жуковский обращался с просьбой и к Николаю I:

... дело милосердия, прибавлю и царской признательности, этому дню столь приличное! <...> день Бородинский громко вопиет к царю: помяни милосердием храброго Коновницына!

Еще одно; но это уже к Бородину не относится, а просто к благостному сердцу нашего несравненного государя, которое не раз удалось мне подсмотреть **в его прелестные человеческие минуты**. <далее следовала просьба Жуковского об участии в судьбе дочери осужденного Муравьева. — Т. Г.> <...> здесь идет дело просто **о человечестве**, и благодать не была бы нисколько в противоречии со строгостью правосудия [Там же: VI, 403].

Знаменательно, что тема отношения монарха к мятежникам стала точкой пересечения между Жуковским, сторонником Николая, и противниками царя. Французский путешественник А. де Кюстин незадолго до Бородинского торжества записал: «Будь он воистину великим человеком, он давно бы простил князя Трубецкого; но, вменив себе обязанность играть заранее отведенную роль, он чужд милосердия...» [Кюстин: II, 21]. Кюстин использовал судьбу Трубецкого как один из предлогов для непосещения Бородинского торжества. Точные причины незамедлительного отъезда Жуковского из Бородина в Москву нам неизвестны.

Для нас важно подчеркнуть, что Жуковский, пропустив инсценировку Бородинского боя, даже не поинтересовался в письме к цесаревичу этим грандиозным военным событием. Более того, поэт в этом письме позволил себе высказать критические замечания в адрес «Бородинского помещика».

Начатый освящением на Пасху обновленного Зимнего дворца, продолженный празднованием 25-летнего юбилея входа русских войск в Париж и 5-летнего юбилея открытия Александровой колонны, затем торжествами на Бородинском поле, праздничный цикл был закончен 10 сентября закладкой храма Христа Спасителя. Включение в праздничную канву дня рождения потенциального наследника престола великого князя Константина Николаевича (9 сентября) поддерживало общую идею стабильности русской монархии.

Несмотря на проживание в Москве, Жуковский не сообщил в письмах никаких сведений о закладке храма; в своем дневнике он лаконично констатировал этот факт. Однозначно объяснить молчание поэта невозможно. Мы не исключаем, что оно было маркированным. Согласно Жуковскому, полного единения между царем, наследником престола и народом не могло быть без исполнения минимальной программы, о которой поэт писал цесаревичу в письме по поводу Бородинского праздника.

В сценарии власти посещение государем Москвы было знаковым событием, для Жуковского оно служило мерилom оценки свершений монарха⁶⁷. Напомним строки из его стихотворения «Певец в Кремле» (1816), актуального в контексте Бородинского и Московского торжеств: «Будь жизни благ и тишины / И вечных прав хранитель» [Жуковский: II, 50]. Жуковский назвал те требования, но и условия, при которых монарх и его деяния заслужат будущую свободную хвалу поэта.

Дважды упомянутая поэтом тема *государя-человека* (в письмах 1839 г. к наследнику, затем к великой княгине) — это также своеобразный экзамен на государственную зрелость, предложенный наставником великому князю. Жуковский ожидал со стороны цесаревича исполнения личной просьбы, но ожидаемых знаков внимания он, по-видимому, не получил. Поэт сомневался, что его миссия — воспитание человека на троне — была

⁶⁷ В архиве Жуковского хранится папка «Записи о учении. Планы», в которой мы обнаружили черновики речей, составленных поэтом для цесаревича по поводу его совершеннолетия. Для подтверждения нашей мысли выделим отрывок из московской речи: «Москва есть любезная моя родина, Бог дал мне жизнь в Кремле: да позволит Он, чтобы <сие счастливое> предзнаменование <совершилось> [что я со временем не остался без успеха в моих усилиях заслужить] одобрение <моего> Государя Родителя, как сын верноподданный, и уважение России, как Русский, всем сердцем привязанный к ее благу» [Записи о учении]. Ср. с концовкой петербургской речи: «Да молят они Всевышнего вместе со мною и со всеми нашими соотечественниками, чтобы Он благоволил сохранить нам долгие дни нашего Государя и утвердил благоденствие Российского Государства» [Там же].

завершена успешно. Торжественный молебен по случаю закладки храма Христа Спасителя не скрасил, по-видимому, тяжелых раздумий Жуковского.

В частном письме к цесаревичу поэт коснулся болевых точек, так как оно служило наставлением будущему монарху. Балансирование между текстами, созданными для широкой аудитории, и текстами «для немногих» не привело Жуковского к созданию системы двойных стандартов. Поэт отказался воспевать монарха-воина, в описаниях он придерживался своего идеала монарха-человека. В дни военного торжества Жуковский развивал менее актуальную и востребованную линию официальной идеологии. Принципиальное отношение к проблемам войны и мира или государя и подданных проявилось как в текстах, так и в поступках поэта.

27 октября он занес в дневник такую запись:

Нельзя без негодования думать о ветренности, с коюю жертвуют жизнью великого князя, и чему же? Царской игрушке, которая неприлична царю, России вредна и убивает все способности государственные. Великого князя с самого его возвращения с утра до вечера заставляют командовать: здесь играем в войну и любуемся парадами, а внутри государства режут и жгут, и некоего посылать, чтобы унять разбойников. «Вам бы только драться», — говорил Константин Павлович [Жуковский: XIV, 189].

Мысли о внутреннем развитии России превращались в отдаленные мечты, которые казались Жуковскому в тот момент бесплодными. Характерно обращение поэта к возникшему в 1825 г. мифу о Константине Павловиче, попечителе народного блага. Парадокс состоял в том, что Жуковский знал: второй сын Павла не уступал Николаю (если не превосходил его) в любви к фрунту. Придворная биография Жуковского двигалась от мифа к мифу, между обретением надежды и утратой иллюзий.

ГЛАВА III

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО ИДЕАЛА: ЖУКОВСКИЙ ЗА ГРАНИЦЕЙ (1841–1850)

§ 1. Между реальным и идеальным мирами: Жуковский и семейство Николая I

Вопрос: В чем состоит чистая любовь к Отечеству?

Ответ: В том, чтобы отечество стоять выше всех других стран в мире

[Краткий катехизис].

...я прикован к чуждой земле (которая сверх того еще и вулканическая) тяжелой цепью, болезнью жены

[Жуковский 1849].

В 1841 г. Жуковский вышел в отставку и готовился к отъезду за границу к своей невесте Е. Рейтерн. У поэта была взята подписка в том, что он обязывается «крестить и воспитывать детей своих в лоне православной церкви» [Зейдлиц: 174]. Ему, по свидетельству Плетнева, было «позволено жить там, где он найдет для себя удобнее и приятнее» [Воспоминания: 415]. Николай I, зная о намерении поэта прожить вне России только два года, не ограничил ему срок пребывания в Пруссии. (Согласно шестому пункту закона 1834 г., дворянину разрешалось находиться за границей пять лет).

2 мая 1841 г. поэт уехал за границу. Источником существования его семьи были пенсии и различные доходы, которые ему переправлял из России Р. Р. Родионов. Для выдачи последнему денег Жуковский должен был каждую треть года отправлять в Петербург заверенный в русской миссии документ — «свидетельство о жизни».

Спешу послать вам и доверенности и свидетельство о жизни. Там же и свидетельство о жизни Рейтерна. **Странное дело, что всякую треть надобно писать новое свидетельство для каждого места;** разве нельзя один раз навсегда дать одну общую доверенность на все время моего отсутствия и для всех мест. Сколько у нас даром пишут и сколько делают затруднений! <...> Сентябрь 1841. Франкфурт на Майне. Мой адрес [просто] в Дюссельдорф [Родионову 123: 9].

Исполнение этой обязанности приносило определенное неудобство и указывало на то, что для Жуковского не было сделано исключения из общих правил пребывания русского за границей. Помимо досадной необходимости писать свидетельства поэта в 1841 г. ожидало еще одно неприятное

открытие. В письме к Родионову от 2/14 декабря он недоумевал: «В вашем счете так же стоит: от наследника 133. Мне кажется что мне в треть следует 190?» [Родионову 123: 15]. Произошедшая недодача денег явилась первым в ряду последовавших мелких происшествий⁶⁸, которые сигнализировали о перемене отношения к Жуковскому при дворе: его начали забывать, ему не стеснялись выказывать пренебрежение.

1841–1842 гг. — это счастливое время в жизни поэта: женитьба, долгожданные семейные радости, ожидание первенца. В начале сентября 1842 г., еще до рождения дочери, Жуковский отправил императрице Александре Федоровне письмо, в котором просил ее стать крестной матерью, если родится девочка. Однако ответа на свою просьбу он не получил. В письме к наследнику от 7 ноября 1842 г. из Дюссельдорфа поэт по этому поводу недоумевал:

Никак не могу подумать, чтобы моя милостивая императрица захотела меня оставить без ответа в таком важном случае жизни моей: **какое-нибудь враждебное стечение обстоятельств все здесь перепутало** [Жуковский 1885: VI, 445].

Необъяснимое для Жуковского молчание секретаря императрицы И. П. Шамбо также его озадачило. Он писал Родионову 3/15 октября 1842 г.:

Попеньяте от меня Ивану Павловичу за то что **он не отвечал мне ни разу на письма мои**. Я даже не знаю что сделалось с картиною посланною моим тестем, в каком виде она дошла и представлена ли Государыне Императрице. И я и тесть мой писали к И. Г. **Но ответа нам не было**. Прошу вас уведомить меня об этой картине [Родионову 124: 25–26].

В письме шла речь о подарке для императорской четы к серебряной свадьбе — о картине Рейтерна «Георгий Победоносец», к которой Жуковский написал поэтический комментарий. В стихотворении поэт перечислил

⁶⁸ История мелких знаков невнимания по отношению к Жуковскому началась с самого начала его пребывания при дворе. После назначения в 1817 г. на должность учителя по русскому языку великой княгини он писал: «Я теперь в отставке. Осмеливаюсь просить, чтобы ваше высочество разрешили, должен ли я считаться в действительности на службе или нет. <...> В заключении прошу ваше высочество простить мне мою докучливость. Я не мог избежать неприятности говорить о самом себе; но это первый раз есть и последний» [Прошение]. Жуковский ошибся. Вступив в должность наставника наследника престола в 1826 г., поэт неоднократно, особенно до 1833 г., выяснял свое «истинное» положение при великом князе Александре Николаевиче. В николаевское царствование поэт острее переживал отношение двора к себе, что во многом было обусловлено его собственным поведением и той ролью, которую он сам отводил себе при царственных особах. Как представляется, детали общения (в том числе, эпистолярного) между поэтом и императорской семьей требуют специального изучения. Также необходимо разрешить источниковедческий вопрос о судьбе писем цесаревича к Жуковскому.

главные вехи русской истории, подчеркнув божественное покровительство Георгия Победоносца в свершениях России: «Наш Божий ратник, наш Георгий / Нам неизменно верен был» [Жуковский: II, 328]. Однако для поэта «Великий ратник Божих сил» предстал на царском семейном празднике не как «бранный гость», а как «мироносец». Трансформация крайне показательна и связана с главной идеей Жуковского о наступлении всеобщего мира, о конце периода военных завоеваний:

Отмстились грозные обиды <...>,
И все свершилося: потух
Для нас в победах пламень брани ...
[Там же: II, 331].

Несмотря на поздравление, императорская семья в дни празднования своей годовщины забыла о Жуковском, хотя другой учитель Александры Федоровны — Музовский — был за свою педагогическую службу награжден орденом, и соответствующий рескрипт был опубликован в газетах. Мотивы подобного поведения трудно объяснить однозначно, подчеркнем лишь то, что Музовский, в отличие от Жуковского, принимал непосредственное участие в празднике в Петербурге. В отношениях поэта с императорской семьей, и до этого не всегда безоблачных, наступил очередной сбой. Затягивающееся пребывание Жуковского за границей вызвало обеспокоенность царствующего дома⁶⁹.

В середине октября 1842 г. великий князь Константин Николаевич первым спросил Жуковского о сроке его возвращения в отечество. Поэт ответил следующее: «Вы пишете о моем возвращении в Россию, скоро ли я возвращусь? Я этого не знаю. Государь <...> позволил мне жить согласно с требованием моих обстоятельств» [Жуковский 1878: VI, 357]. Такой ответ, в котором ощущалось стремление Жуковского к полной личной независимости и его непонимание серьезности заданного вопроса, не удовле-

⁶⁹ Молчание императрицы (в меньшей степени ее секретаря), знаки невнимания по отношению к Жуковскому могли быть связаны с его пребыванием за границей. Напомним, что Николай I не одобрял поездки русских подданных за границу и предпринял ряд законодательных мер, препятствовавших выезду за пределы России. Наоборот, император поощрял возвращение подданных из-за границы, особенно ранее намеченных сроков. Показателен отрывок из разговора 1840 г. Николая I и М. Корфа:

«— Скучно, государь — сказал я, — за границей: меня измучила тоска по отчизне, и я воротился месяцем прежде срока отпуска.

— Это, — отвечал он, — обыкновенный результат того, когда выезжают за границу люди наших лет и наших понятий; посмотришь, порассудишь и убедишься, что если там что и лучше, то у нас оно выкупается другим словом: что наше несовершенство во многом лучше их совершенства» [Корф: 131].

В этом контексте длительное проживание Жуковского в Пруссии, его постоянное откладывание возвращения в Россию могло серьезно раздражать Николая I и влиять на отношение к поэту.

творил царскую семью. В этом же месяце 17/19 октября поэт писал к Родионову:

Спросите, прошу вас, у Федора Ивановича Пряшникова, получено ли им письмо на имя Императрицы и отдано ли? Оно так же послано 5/17 сентября. Скажите при том Пряшникову, что я от того не сам делаю ему запрос, что не надеюсь получить ответа; ибо **на полдюжины писем моих он мне не отвечал** и я полагаю, что **я выключен из числа живых его приятелей** [Родионову 124: 28–29].

Жуковский все с большим недоумением наблюдал за меняющимся отношением к нему. В декабре 1842 г. Александр Николаевич повторил в письме к своему наставнику вопрос о сроках его возвращения в Россию. 29 декабря 1842 г. / 10 января 1843 г. поэт в негодовании писал к Родионову:

Спросите у Ивана Павловича <Шамбо> здорова ли его правая рука и спокойна ли его совесть и не грех ли ему **трактовать меня как обыкновенного скучного просителя, который не стоит даже и того чтобы отвечать на письма его** [Там же: 30].

К концу года Жуковский почувствовал — на разных уровнях — проявления непонимания и отчужденности со стороны царского двора. Его письма, которые, конечно, подразумевали получение ответа, иногда превращались в безответные монологи. Это обстоятельство заставило поэта внести изменения в эпистолярный диалог между ним и цесаревичем.

В ответном письме к Александру Николаевичу 1 января 1843 г. Жуковский дал обстоятельный и серьезный отчет о своей жизни. Поэт опасался, что в глазах императорской семьи его представили «отступником от отечества»:

... этот вопрос <...> подал мне случай дать вам настоящее понятие о моих намерениях и тем **предохранить себя от недоразумений и недоброжелательных толков**, от которых никто не бывает в безопасности [Жуковский 1885: VI, 447–450].

Во взаимоотношениях поэта и двора намечался серьезный конфликт. В письмах к великим князьям Жуковский представил свою жизнь в Германии как независимую и сугубо частную, совершенно отстраненную от общественно-культурного фона Западной Европы и посвященную переводу «Одиссеи»:

... я нашел для себя весьма удобным провести первые годы своей семейной жизни вне всяких отношений общественных, в полной независимости от всего внешнего. И подлинно, я здесь совершенно принадлежу своему домашнему быту: с здешним большим светом я не познакомился; литературных связей никаких не сделал; до политики мне дела нет; живу дома, то есть у себя и в семье своего тестя [Там же: VI, 447].

Друг и биограф Жуковского К. Зейдлиц, однако, нарисовал несколько отличную картину: «...во Франкфурте, где, как и в Дюссельдорфе, дом его

сделался сосредоточием всех людей, отличавшихся умом и образованностью, и где часто навещали его русские путешественники. Жуковский жил открыто, даже роскошно <...>. Кроме того, со многими особами Василий Андреевич вел деятельную переписку» [Зейдлиц: 205]. Это свидетельство ставит вопрос о возможном стремлении поэта в переписке с наследником «отредактировать» свой рассказ о пребывании за границей, что еще раз подтверждает степень возникшего непонимания. Жуковский пытался убедить в неизменности своих верноподданнических чувств, выражая их иногда в парадоксальной форме: «живу <...> можно сказать, не на чуже, а в России».

К концу 1843 г. положение Жуковского осложнилось, и он был вынужден лично встретиться с Александром Николаевичем в Дармштадте. Беседа, по-видимому, носила неприятный характер и оставила у поэта чувство неудовлетворенности. Сразу же по возвращении в Дюссельдорф в декабре 1843 г. он написал наследнику объяснение, которое позволяет реконструировать основные темы дармштадского разговора.

Поэту стали известны, со слов наследника престола, ходившие в Петербурге вокруг него «неблагоприятные» слухи. Статус Жуковского, работа над переводом «Одиссеи» не смогли его защитить от появления «недоброжелательных толков». Это объясняет повышенную стилистическая резкость, эмоциональность письма:

Никому не может придти на мысль, чтобы я жил за границею, потому что предпочитаю чужую землю отечеству; еще менее можно вообразить, чтобы я имел намерение навсегда вне отечества поселиться. Такое подозрение на счет мой уничтожается всею моею жизнью и всею теперешнею моею деятельностью... [Жуковский 1885: VI, 465].

Ситуация в целом приближалась к критической. Наследник (не исключаем этой возможности!) потребовал от поэта разъяснений касательно дальнейших его планов. О монаршей милости 1841 г. (права на неограниченное сроком пребывание за границей) Жуковский больше не вспоминал. Он, по-видимому, требовал, чтобы его положение было рассмотрено с точки зрения закона 1834 г. о пятилетнем пребывании за границей:

Если бы я попросил у государя императора позволения продолжить этот род жизни на весь пятилетний законом установленный срок, то, конечно, **как и все другие**, не получил бы от его величества на это отказа [Там же: VI, 466].

В марте 1844 г. в отношениях между поэтом и императором наступило потепление. 7 марта Жуковский благодарил цесаревича: «...вы сообщаете мне с такою любезною заботливостью успокоительный для меня отзыв государя императора на счет моей заграничной жизни» [Там же: VI, 470]. Такая реакция тем удивительнее, что 15 марта 1844 г. был принят печально знаменитый указ «О дополнительных правилах на выдачу заграничных

паспортов»⁷⁰. Причины «успокоительного отзыва» Николая I могли быть разные.

Первая гипотеза. К принятию указа «О дополнительных правилах» власти заранее приготовили противовес. 19 января 1844 г., спустя год после выхода известной книги Кюстина, Николай I утвердил указ «О предоставлении иностранцам, приезжающим в Россию с срочными паспортами, неограниченную свободу жить в России, несмотря на сроки, назначенные в паспортах их правительства». Появление закона должно было продемонстрировать открытость, лояльность власти в миграционных вопросах⁷¹. Возможно, что на достижение этой цели был направлен и благоприятный монарший ответ Жуковскому, полученный им в конце февраля – в начале марта 1844 г.

Вторая гипотеза. Прочитируем сначала строки из двух писем Жуковского к Родионову. В конце декабря 1843 г. он писал:

Спешу уведомить вас, любезнейший Ростислав Родионович, что я возвратился из Дармштата в Дюссельдорф, где и пробуду до конца марта будущего года. **В конце же марта переселюсь во Франкфурт на Майне, где и останусь до возвращения моего в Петербург.** Когда же возвращусь, не знаю еще; но во всяком случае **проживу год во Франкфурте** [Родионову 125: 50].

Темы переезда во Франкфурт Жуковский коснулся и в письме, отправленном 6 февраля 1844 г.:

В будущем марте (в конце) или в апреле я переселюсь во Франкфурт на Майне, проведя ровно почти три года в благославенном покое в Дюссельдорфе. **Здоровье жены требует сего изменения и обстоятельства** <отца Л...>. Во Франкфурте у меня доктор Копп [Родионову 126: 38].

Во втором письме, в отличие от первого, автор указал на здоровье жены в качестве причины переезда во Франкфурт. Возникают вопросы: почему в декабрьском письме Жуковский не объяснил Родионову причину переезда, а ждал для этого целый месяц? почему мысль о переезде из Дюссельдорфа возникла сразу же после встречи с наследником в Дармштадте и тогда же изложена в письме к Родионову? Подчеркнем: декабрьское письмо

⁷⁰ Этот закон вызвал раздражение и опасения у друзей поэта. Вяземский 21 марта 1844 г. писал Жуковскому: «Честью клянусь, что в течение двух недель этот указ лежал на груди моей как удушье, не давал мне спать, мешал мне порядочно говеть» [ПВЖ: 48]. 19 мая 1844 года А. Тургенев признался: «Закон о невыдаче паспортов всех нас напугал» [Тургенев 1873: 1516]. Жуковский, представляется, мог также испытывать подобные чувства, хотя он, скорее всего, не волновался за свое положение за границей в той степени, как «путешественник» А. Тургенев.

⁷¹ Свобода передвижения иностранцев в России была относительной. Кюстин в 1839 г. констатировал: «Страна эта так устроена, что ни один иностранец не может разезжать по ней не только беспрепятственно, но даже просто безопасно без прямого вмешательства представительной власти» [Кюстин I: 427].

Жуковского к Родионову написано сразу же после объяснительного письма к наследнику; к тому же, впервые в ранее исключительно «бухгалтерской» переписке с Родионовым поэт поднял тему возвращения в Россию. Это письмо, возможно, отражает определенные нюансы состоявшегося между поэтом и цесаревичем разговора.

Напомним, что Родионов регулярно получал свидетельства о жизни, которые первоначально отправлялись поэтом из Дюссельдорфа во Франкфурт для заверения в русском посольстве, а затем оттуда переправлялись в Петербург. Зная это обстоятельство и читая декабрьское письмо своего корреспондента, Родионов не мог не понимать, что переезд во Франкфурт обсуждался на встрече с цесаревичем. Между Жуковским и Александром Николаевичем, по нашему предположению, могла быть достигнута следующая договоренность: условием получения годовой отсрочки был переезд поэта из Дюссельдорфа во Франкфурт, т.е. ближе к русской миссии.

Третья (наиболее вероятная, с нашей точки зрения) гипотеза. В 1844 г. был опубликован перевод Жуковского «Наль и Дамаянти». 4 февраля 1844 г. Жуковский просил М. Ю. Виельгорского доставить по экземпляру книги каждому члену императорской семьи (см.: [Жуковский 1869: 647]).

Историческая повесть «Наль и Дамаянти» была создана в период с 16 мая 1837 по 16 декабря 1841. 16 февраля 1843 г. поэт написал посвящение, адресованное дочери государя Александре Николаевне. Подчеркнем, что в посвящении Жуковский вспомнил Александру Федоровну на празднике 1821 г., на котором она была в костюме Лалла Рук, а Николай Павлович — в костюме восточного принца. Образы влюбленных Наля и Дамаянти могли быть спроецированы на императора и императрицу, на счастливую семейную пару⁷².

22 августа 1831 г. Жуковский переводил стихотворные надписи С. Г. Шпикера к альбому, посвященному Берлинскому празднику 1821 г. В ноябре 1832 г. Жуковский написал первые 17 строк «Наля и Дамаянти»:

Жил царь, **сильный**, могучий и славный,
Нала, сын Виразены **державный**,
Был он создан людям на радость;
Все он имел: красоту, мужество, младость.
Он возвышался над всеми земными царями,
Словно как бог богов над всеми другими богами.
Всю землю <он как> солнце в лучах озарял,
Премудро Нишадской страной обладал,
Слыл он в Индии первым царем,
Сильный рукою и сильный умом,
Усердный духовных мужей почитатель,
Умный писаний святых толкователь,
В храме набожный жертв сожигатель,

⁷² О роли Жуковского в создании династического сценария вокруг семьи Николая Павловича см.: [Уортман: I, 342–348].

Смиритель буйных желаний своих.
Радость для добрых, ужас для злых,
Тайная дума пламенных дев,
Агнец с друзьями, с противными лев...
[Жуковский 1959–1960: III, 551].

Поэтический образ восточного правителя напоминал идеальный портрет русского монарха. Николай I, по общему мнению современников, был самым красивым государем, обладал мужеством и силой, отличался религиозным чувством; о его преклонении перед женщинами, как и верности дружбе ходили анекдоты (см., например: [Смирнова-Россет 2003] или [Высочков]). Николай Павлович считался самым могущественным, влиятельным (т.е. «первым») монархом среди равных.

Год спустя после написания первых строк «Наля и Дамаянти»⁷³, в 1833 г. Жуковский создал гимн «Боже, Царя храни». Обратим внимание на ключевые характеристики правителя, которые употребляет поэт в двух разных сочинениях. В тексте гимна царь такой же — «Сильный, Державный», он также правит «на славу нам, / на страх врагам» [Жуковский: II, 292]. Подчеркнем, что Жуковский разрабатывает для своего читателя образ государя-героя.

Первые строки «Наля и Дамаянти» (1832) были созданы поэтом в преддверии активного идеологического творчества 1833–1834 гг. Опубликованный в 1844 г. полный перевод повести продолжал идеологическую практику Жуковского первой половины 1830-х гг., целью которой было воспеть идеальный образ монарха.

В 1843 г. поэт также написал одно очень показательное стихотворение «Завидую портрету моему!»⁷⁴. Царю (т.е. русскому монарху) посвящены такие строки:

Вождь настоящего, могучий друг
Свободы, буйства враг, небесной правды

⁷³ Выдвинем крайне осторожно следующую гипотезу. Фабула «Наля и Дамаянти» с определенными оговорками могла быть прочитана в целом через код событий междоцарствия 1825 г. Действие повести начинается с проигрыша в кости Налем брату Пушкаре своего престола. Заканчивается история не счастливым воссоединением возлюбленных, а возвращением престола (отыграл у брата в кости) законному правителю. Наль, пройдя через все испытания, доказал свое право на престол. С этой точки зрения, Николай I — Наль стал законным государем потому, что он в ниспосланных ему Провидением испытаниях показал себя истинно достойным царского венца.

⁷⁴ Согласно комментарию А. С. Янушкевича, «стихотворение <...> является надписью к портрету Жуковского работы немецкого художника Теодора Гильдебрандта (1804–1874). Этот портрет был написан для прусского короля Фридриха Вильгельма IV <...> и находился во дворце Шарлоттенбурге» [Жуковский: II, 732].

Свершитель на земле, державный гений
Неутомимо бодрствует для блага.

Святылище, где добрый царь наш верно
Им знаемому Богу служит, **сердцем**
Постигнув тайну царского призвания

[Жуковский: II, 334].

Обрисовав репутацию русского царя («буйства враг»), Жуковский возвысил Николая I как правителя, назвал его, по сути, идеальным монархом, ибо он, государь-человек, познал и исполнял свое божественное предназначение на земле. Россия, благодаря его деятельности, превратилась в «святылище», в «Эдем», вход в который не случайно охранял ангел.

Поэтический взгляд Жуковского на монарха отвечал тому образу русского царя, который утверждался официальной культурой. Возможно, повесть «Наль и Дамайанти», напоминавшая царю и царице о счастливом времени 1821 г., и стихотворение «Завидую портрету моему!» сыграли положительную роль в урегулировании взаимоотношений между поэтом и императорской семьей и в решении вопроса о проживании Жуковского за границей. В течение всего 1844 г. в переписке между наставником наследника престола и его учеником тема возвращения поэта в Россию не поднималась.

Ситуация вокруг Жуковского снова осложнилась весной 1845 г. Поэт писал наследнику 7 апреля: «Теперь я **должен** дать вам отчет о себе и своих планах. Я собирался **нынешним годом возвратиться** в Россию; но это невозможно: <...>. Впрочем я **возвращусь к законному сроку**, нимало не нарушив общего постановления» [Жуковский 1885: VI, 491]. Данное объяснение не удовлетворило императорский двор. Поэту намекали на необходимость скорейшего возвращения. Зейдлиц утверждал: «Жуковскому **советовали** в то время возвратиться с семейством на родину...» [Зейдлиц: 205].

С лета до конца октября 1845 г. в переписке между наставником и наследником престола наступило временное затишье. Ему была предоставлена очередная отсрочка. Но при внешнем благополучии Жуковский, как и в конце 1842 г., чувствовал равнодушное и пренебрежительное отношение к себе императрицы и ее секретаря.

Письма Жуковского к Родионову позволяют реконструировать так называемую «историю браслета» — подарка, присланного поэту в июне 1845 г. Приведем три характерных отрывка, раскрывающие атмосферу внутренней напряженности и непонимания между двумя сторонами. Письмо от 18/30 июня 1845 г.:

Но Иван Павлович <Шамбо> не на шутку ленится; **он не пишет и тогда, когда его должность ему это повелевает**: например, мне почта привезла подарок от Императрицы, и этот подарок <...> привел меня в недоумение <...>. По какому случаю сделан мне этот подарок, угадать не могу. Секретарю императрицы

следовало бы приложить несколько слов объяснения; <...> но теперь **получил его самым неприятным для меня образом** и потому только могу догадываться что он назначен мне, что это выставлено на пакете [Родионову 127: 35–36].

В отличие от 1842 г., когда Жуковский иронизировал по поводу молчания Шамбо, поэт реагировал уже болезненно, стремился выяснить причины поведения еще недавно близких ему людей, о чем свидетельствует, например, письмо от 7 сентября н.с. 1845 г.:

Я очень рад что глазами видел императрицу <...> Надобно признаться что он <И. П. Шамбо. — Т. Г.> поступил со мною не только не приятельски, но даже неучтиво. **Я ни на одно из писем своих не удостоен получить ответа прошу вас мне изъяснить отчего происходит такая непристойность** [Там же: 45].

Ответ Родионова нам неизвестен. О завершении этой истории мы узнаем из письма Жуковского от 30 октября 1845 г.:

Дело браслета объяснилось. Но все таки Шамбо виноват. Ему надобно было узнать писала ли императрица; да как ему не знать? Ведь письма отправляет он. Браслет привел меня в великое недоумение; и я не отвечал императрице и не благодарил за оказанную мне милость. По какому случаю прислан браслет не знаю; он не может быть крестным подарком — императрица у меня не крестила ни дочери ни сына. **А Шамбо и не подумал отвечать мне на письмо, в котором на все это я просил у него объяснения. Я крепко помыслю о моем возвращении на родину**, хотя должен признаться что для работ, для финансов и для здоровья жены мне еще весьма бы нужно было долее здесь оставаться <...>. Во всяком случае в будущем году увидимся [Там же: 49].

Положение поэта было неоднозначным. Он не был готов возвратиться в Россию, поэтому оттягивал отъезд, но также — на примере этой истории — интуитивно понял: пренебрежительное поведение императрицы и ее секретаря отчасти обусловлено его долгим заграничным проживанием. Показательно, что тема возвращения в Россию возникла в письме сразу после описания истории наметившегося конфликта, как отклик на ситуацию и как средство, которое идеально могло бы улучшить их отношения. Знаменательно, что это письмо к Родионову было написано одновременно с объяснением к наследнику.

Октябрьские объяснения оставили о намерениях Жуковского неблагоприятное впечатление, о чем свидетельствует письмо к наследнику 3 декабря 1845 г.:

Между тем вижу из письма Игнатьева ко мне, что **мои последние длинные письма ничего не объяснили перед вашим высочеством на счет моей заграничной жизни**. <...> Но вот что пишет Игнатьев, которому ваше высочество благоволили сообщить мои письма: «Хотя мы не усомнимся никогда в вашей привязанности к царскому дому и к России; но **тяжела для нас мысль, что вы навсегда отвергаете объятия, к вам простертые**». Это *навсегда* привело меня в недоумение: следовательно и ваше высочество **могли заключить**

из моих писем, что я собираюсь навсегда остаться за границей [Жуковский 1885: VI, 504].

Долгосрочное проживание поэта за границей и его постоянное уклонение от возвращения в Россию, всегда при этом фактически и логически обоснованное, воспринимались как проявление антипатриотических настроений, о чем Жуковскому прозрачно намекали. То, что ответ Александра Николаевича поэту был дан через третье лицо, косвенно говорит о возникновении не только напряженной, но прямо конфликтной ситуации. На следующее письмо от 3 декабря наследник не ответил. Эпистолярный диалог стал монологом поэта.

Кризис 1845 г. разрешился так же неожиданно и благополучно, как и в 1843 г. Император и наследник не хотели и не могли перейти определенную границу, но считали необходимым и позволительным дать почувствовать поэту свое негативное отношение к его затянувшемуся пребыванию за границей. Жуковскому была предоставлена отсрочка до апреля 1847 г. О ней он сообщил Родионову в письме от 5 февраля 1846 г. Статус наставника наследника престола позволял поэту рассчитывать на очередную отсрочку, но для нормализации отношений с императорским двором ему необходимо было совершить определенные шаги.

15 января 1846 г. поэт поздравил своего бывшего ученика с получением ордена Св. Владимира и выразил всю глубину своих верноподданнических чувств русскому монарху. На его поздравление наследник ответил милостивым письмом — конфликтная ситуация 1845 г. тем самым полностью разрешалась. Спустя месяц, 15 февраля 1846 г. Жуковский писал:

Всем сердцем благодарю ваше высочество за последнее ваше письмо, которое несказанно меня обрадовало. Я не отвечал на него, дабы **не обременять** вас частою **перепискою**, но **был им вполне успокоен и утешен**. <...> дай Бог <...> чтобы **мои мысли, вам передаваемые**, всегда были **светлые и правильные** <...> без всякой **примеси своекорыстия**... [Там же: VI, 510].

Из полупризнаний поэта можно реконструировать то, что вызвало раздражение в его объяснениях конца 1845 г. Это — то упорство, с каким он отстаивал свою позицию, проявившееся в частоте отправляемых писем. Это — сомнения императорского двора в «светлых и правильных» «мыслях» бывшего наставника. Только избрав новую линию поведения, Жуковский улучшил отношения с двором.

Из этого же письма поэта мы узнаем о его готовности представлять наследнику своего рода отчеты о западно-европейской жизни: «Это право, данное мне вами, право быть **выразителем и оценщиком для вас общего мнения, шпионом не лиц, а времени**, дает мне звание особенного рода...». Такая деятельность должна была, по мысли автора, в какой-то мере оправдать его долгосрочное проживание за границей: «... исполнение его **издали** может быть успешнее, чем **вблизи**» [Там же].

В конце 1846 г. – начале 1847 г. происходит новый виток в истории пребывания Жуковского за границей. Поэт предпринял попытку легализации своего долгосрочного пребывания вне России. В письме от 21 февраля 1847 г. он писал наследнику:

Полагая возможным не изъятие из закона, а его **дополнение на будущие подобные моему случаи**, им не предвиденные, я почитал себя обязанным представить на высочайшее разрешение мои обстоятельства, сам наперед признавая, что закон им противоречит. Министр юстиции совершенно прав, утверждая, что изъятие в частном случае было бы весьма опасно и потрясло бы закон коренной в его основаниях [Жуковский 1885: VI, 528].

Ответ цесаревича (или министра юстиции) нам неизвестен, скорее всего, его не последовало. На инициативы Жуковского, которые в глазах членов императорской семьи казались странными и непонятными, отвечали молчанием.

Весной 1847 г. истекли все возможные сроки пребывания поэта за границей, соблюдение закона 1834 г. требовало его возвращения на родину. 21 апреля 1847 г. Вяземский отослал Жуковскому письмо, в котором советовал оттянуть отъезд из-за границы: «А все-таки не желаю для тебя, чтобы ты поселился в Петербурге. Мы уже как-то обжились в этом спертom воздухе, сами отчасти провоняли, и нас не ошибает вонь ближнего. Но тебе с вольного воздуха возвратиться в это удушье тяжело» [ПВЖ: 55]⁷⁵. 2/14 мая 1847 г. Жуковский сообщил Родионову о готовящемся возвращении в Россию: «В июле месяце надеюсь наверное если будет угодно Богу, вас увидеть в Петербурге» [Родионову 129: 47].

Однако здоровье жены внесло в ситуацию очередные коррективы. Поэт вместе с семьей уехал на лечение в Эмс, оттуда 1 августа н.с. 1847 г. послал письмо Родионову: «Я теперь в Эмсе с женою, которая пьет воды и купается. Эта поездка остановила мою поездку в Петербург. Мы с вами не прежде как будущим летом увидимся» [Там же: 55]. Жуковский как будто полон решимости вернуться в Россию.

Вопрос о сроках и причинах пребывания за границей в письмах поэта к наследнику более не фигурировал. Внешний характер отношений с властью приобрел, казалось, новые черты: стал более мягким, уважительным, простым. Но ожидаемые поэтом письма великих князей не были написаны.

⁷⁵ 1 ноября 1845 г. Плетнев писал: «О переезде вашем сюда <в Россию. — Т. Г.> я каждый раз думал с какою-то печалью <...> Что лучше Франкfurта и особенно Дюссельдорфа? **По крайней мере откладывайте это антипоэтическое возвращение столько, сколько будет возможности**» (цит. по: [Веселовский: 332]). Обратим внимание, что Плетнев довольно точно описал здесь и тактику эпистолярного поведения самого Жуковского в письмах к наследнику. Открытым остается вопрос: в какой мере на невозвращение Жуковского в Россию влияли следующие факторы — болезнь жены, личное нежелание, советы друзей.

Наставнику Константина Николаевича Литке Жуковский жаловался 3/15 января 1848 г.:

Великому же Князю пеняю и имею право пенять за то, что он не отвечал мне на мое последнее письмо: оно писано в важную минуту его жизни; в нем не одни поздравительные фразы, а голос из сердца, на который его сердцу надлежало бы откликнуться [Жуковский 1887: 337].

В феврале 1848 г. в Париже началась революция, охватившая, в том числе, и Германию. Жуковский пристально следил за происходившими событиями. «Нынче хронология переменялась. Дни стали веками. Это значит, что скоро наступит вечность», — писал поэт к А. Я. Булгакову [Жуковский 1878: VI, 577]. Главная тема размышлений — это духовный поиск выхода из надвигающегося катаклизма цивилизации. По распоряжению Александра Николаевича отрывок из письма Жуковского к нему был опубликован под заглавием «Письмо Русского из Франкфурта». Поэт, таким образом, был вновь включен в строительство официальной идеологии. Жуковский стал теперь необходим правительству именно за границей как голос «истинного русского патриота», на что указывает и выбор заглавия для его статьи⁷⁶.

8 марта н.с. 1848 г. Жуковский поздравил великого князя Константина Николаевича с обручением, которое казалось поэту «каким-то светлым предзнаменованием, когда все потемнело в Европе». Мир, основанный на семейных ценностях, казался препятствием на пути «лавы» к хаосу и низвержению существующего миропорядка⁷⁷. Знаменательно, что после начала европейской революции Жуковский продолжил работу над «Одиссеей». Перевод гомеровского эпоса напоминал частному человеку о патриархальных ценностях, об идеальном мире, в котором он мог скрыться от современной «бури» (о связи творческой истории текста и современных событий см.: [Виницкий]). Одновременно поэт понимал, что уход в семью или в поэзию был иллюзорным, а не реальным выходом из исторического кри-

⁷⁶ Статья Жуковского была опубликована 12 марта в пятницу, тем самым, подготавливала общество к восприятию манифеста Николая I об объявлении войны, который появился 15 марта в понедельник. Булгарин писал в «Северной Пчеле»: «“Письмо из Франкфурта” произвело сильное и благотворное влияние на всех благонамеренных людей и истинно их порадовало» [Видок: 552].

⁷⁷ Ср. письмо Жуковского к Северину еще 18/30 января 1848 г.: «Тогда как вся Европа стоит на кратере вулкана <...> — в эту важную роковую минуту шестидесятилетний поэт просит столь же престарелого министра Русской империи, имеющего значительное имя между дипломатами Европы, чтобы он постарался найти ему для его и детей его забавные картинки, по образцу, здесь приложенному. Не смешно ли? Смешно» [Письмо к Северину: 513–514].

зиса⁷⁸. Жуковский-аналитик закончил письмо к Константину Николаевичу словами:

... русские пушки много значат теперь и много значили во все времена. Теперь у каждого русского повторится то, что в день торжества Бородинского было от имени молодого войска сказано старому, на полях Бородинских положившему жизнь свою:

В свой черед мы грудью станем,
Если Царь велит отдать
Жизнь за общую нам мать

[Жуковский 1878: VI, 364–365].

Накануне, 7 марта н.с., в письме к Булгакову он уже вспоминал заключительные слова из стихотворения «Бородинская годовщина». Современные события актуализировали военный подтекст, хотя в контексте 1839 г. на первом (и единственном) плане стояла идея об окончательном примирении, об успокоении пушек. Память о легендарном сражении, об Отечественной войне стала призмой, сквозь которую поэт и современники воспринимали и прочитывали сценарий революции 1848 г. 23 марта / 4 апреля барон Бруннов в депеше из Лондона писал: «Наступающие события заставляют нас вспомнить события эпохи 1812 года» (цит. по: [Авербух 1931: 14]). Весной Жуковский, как и Николай I, не исключал возможности военного столкновения.

Вместе с тем, в каждом письме к цесаревичу поэт доказывал практическую пользу для России военного невмешательства в европейские дела. 17 (29) февраля 1848 г. он предупреждал: «...устремленная на внешнее она <Россия. — Т. Г.> только может растратить свои силы и чужим потрясением разрушить свое собственное здание» [Жуковский 1885: VI, 541]. 5 марта поэт еще раз подчеркнул: «...мы тверды нашими внутренними силами и богаты будущим, но тверды у себя, а не вне наших пределов» [Там же: VI, 543]. В статье «Письмо Русского из Франкфурта» корреспондент цесаревича писал: «Россия смогла бы отгородиться от Европы. Россия сильна у себя и будет вдвое сильнее, когда все свое могущество устремит на свою внутренность, отгородив китайскою стеною себя от заразы внешней» [Письмо Русского]. Вот строки из другого мартовского письма поэта: «Все надежды наши на самобытность России, которая во всей силе может отделиться от Запада и стоять твердо за свою стеною» [Жуковский 1885: VI, 549–550]. В рассуждениях Жуковского соединились в единый узел две, ранее неприемлемые идеи — о внутреннем развитии и о сознательной изоляции России. Хотя поэт поддержал императорский манифест об объявлении войны революционным силам, он настаивал: действия России должны

⁷⁸ См. письмо Жуковского к Плетневу 18/30 марта 1848 г.: «Что впереди ждет Европу? Возврата к прежнему состоянию ожидать нельзя. <...> во всеобщем волнении нет нигде приюта мирному человеку» [Плетнев: III, 600].

быть исключительно оборонительными, Россия в одиночку не может следовать принципам Священного Союза.

С марта 1848 г. все мысли поэта сосредоточены на естественном желании скорейшего возвращения в Россию. Наиболее подробную и хронологически точную картину жизни Жуковского тех дней передают письма к Родионову. 17 марта 1848 г. он констатировал: «Обстоятельства политические может быть принудят меня **оставить Франкфурт прежде нежели я полагал**. <...> Дай Бог скоро увидимся» [Родионову 134: 81]. 21 марта / 2 апреля 1848 г. поэт уже сообщил о начавшемся сборе вещей: «Между тем я укладываюсь и скоро пошлю то что можно послать будет в Россию, адресовав все в контору великого князя на что уже имею соизволение Его Высочества» [Там же: 92]. Жуковский активно обсуждал с Родионовым планы, маршруты, обстоятельства своего переезда. 17/29 мая 1848 г. поэт объявил о начале своего пути: «**Вот уже мой возвратный путь в Россию начался**. Жена уже в Эмсе; я сам еду туда через два дни; и 3/15 июля мы оттуда пустимся в дорогу — но какую дорогу позволят выбрать обстоятельства не знаю; в полтора месяца много воды утечет <...> война, которая висит на носу ...» [Там же: 106].

Однако болезнь жены снова внесла коррективы в график возвращения, как свидетельствует письмо из Эмса от 18/30 июня: «... если бы не лечение жены, уже давно бы я был в России; но по всем обстоятельствам нельзя будет пуститься в путь прежде 3/15 августа» [Там же: 110]. Усиливающееся революционное напряжение в Европе и разразившаяся в России эпидемия холеры заставили Жуковского кардинально изменить свои намерения. 3/15 июля 1848 г. он писал Родионову: «Между тем я и здесь отовсюду окружен разбоем! Остается одно средство — если нельзя будет ехать к вам, то не оставаться и здесь, а поселиться на зиму в Швейцарии, где теперь покойно и куда, вероятно не заглянет та война, которая на носу в Германии» [Там же: 112]. Положение поэта оставалось крайне сложным и физически, и материально, и морально:

Что начать? Куда ехать? На встречу холеры везти жену и детей не хочу. Когда же она прекратится в России, уже будет поздно пускаться в дорогу. Между тем все здесь у меня продано. Во Франкфурте также оставаться нельзя — неспокойно. Советуют в Швейцарию — горный воздух жене может быть полезен. Может быть на это и решусь — но в Швейцарии чрезвычайно дорого жить [Там же: 114].

Одним из средств душевного преодоления житейских трудностей была активная переписка. Летом 1848 г. Жуковский написал письмо к Вяземскому по поводу его стихотворения «Святая Русь». Прочитируем один фрагмент по архивной копии текста: «Под развитием самодержавия разумеется твердое укоренение по распространению его патриархального могущества, [<...> ее <власти. — Т. Г.> утверждением посредством указания необходимых, верных путей ее действия, спасающим ее от самоубий-

ственного произвола]...» [Жуковский 1845–1850]. Поэт поставил перед собой задачу выработать конкретные правила, придерживаясь которых, Россия не подорвала бы свой монархический фундамент. В переписке с наследником Жуковский начал рассуждать о потере власти прусским королем. В серии писем об этих событиях он учил цесаревича искусству власти, делаясь своими мыслями о том, как следовало бы поступить Фридриху-Вильгельму IV в той или иной ситуации.

Тем же летом русские войска вошли в Дунайские княжества: антиреволюционная борьба началась за пределами России. Активно обсуждая политические новости и события с цесаревичем, Жуковский ни единым словом не охарактеризовал новый виток русской политики. В это время, надо полагать, поэт работал над стихотворением «К Русскому великану», единственным поэтическим текстом, написанным в 1848 г. Стихотворение имело, как можно предположить, программный характер. Вместе с тем, оно было построено исключительно на традиционных образах — «орел», «великан», «буря», «море», «утес», «разбивающиеся волны»⁷⁹. Однако за поэтическими клише у Жуковского стояли конкретные государственные лица и символы николаевского царствования. С этой точки зрения, текст является оригинальным и нуждается в комментарии.

Для понимания образа «орла» в стихотворении «К Русскому великану» обратимся к поэтическому контексту — к описаниям противостояния между Россией и Революцией в русской поэзии. В этой связи, по нашему мнению, принципиально важно стихотворение Державина «Орел», которое описывает отбытие русских войск в Италию в 1799 г., во время первой антифранцузской коалиции:

⁷⁹ В публицистике, в депешах министров рассуждение о современной истории часто строилось на развертывании метафоры «утес» ↔ «море» (Россия ↔ Европа). Накануне французской революции, в январе 1848 г., Греч писал из Парижа: «Всею своею неистовою силою бьет вода в берег, противостоящий могучему напору; это гранитный, непоколебимый берег, об который разбиваются громадные волны и разлетаются мелкими брызгами, есть Россия» [Видок Фиглярин: 555]. 20 января 1848 г. австрийский канцлер писал к министру иностранных дел Нессельроде: «Вот уже почти шестьдесят мы стоим как утес среди бушующих волн» (цит. по: [Авербух 1838: 164]). Эти универсальные образы встречается и в русской литературе. Назовем, например, такие поэтические тексты, как «Воспоминания в Царском селе» (1814), «Кто, волны, вас остановил?» (1823) Пушкина, «Хаджи Абрек» (1835), «Дары Терка» (1839), «Памяти А. И. Од-го» (1839), «Утес» (1841) Лермонтова и мн. др. Вопрос о роли художественной литературы в развитии идеологического языка требует специального изучения. Политические эмблемы могли, в свою очередь, оказать влияние на формирование тех или иных устойчивых метафор. Как представляется, актуальной проблемой является описание механизма формирования политической метафоры в диахронии, изучение трансформации художественного образа в политический символ и наоборот.

Куда **несешься** с высоты?
Приняв перуны в когти мочны,
Куда **паришь**, Орел полночный!
И **на кого их бросишь ты?** <...>
Стремишься в прах низвергнуть троны,
Брать царства, королей пленить? <...>
Нет, нет; пред Павла знаменами
Ты с Росскими летишь полками
Престолы падши возносить.
Гряди спасать Царей, Суворов!
[Державин: 278–279]

Державинский орел — не только символ мощи, устрашения врагов (как, например, орел из «Оды на взятие Хотина» Ломоносова). У Державина орел призван спасать престолы, противостоять революционному разрушению. Жуковский развил идею Державина, внося новые черты в образ орла:

Твой орел, пространства князь,
Над бунтующей смеясь
У твоей подошвы бездной,
Сжавши молнии в когтях
В высоте своей воздушной —
Наблюдает равнодушно,
Как раздор кипит в волнах
[Жуковский: II, 335].

Если орел Державина намерен вмешаться в ход событий, то не уступающий ему в силе орел Жуковского — сторонний наблюдатель. Так как окружающие явления для него не представляют интереса («Наблюдает равнодушно»), то и цели державинского орла — восстановить «престолы падши» — ему чужды.

В 1848 г. поэт переработал одно из писем к цесаревичу в статью «Самоотвержение власти», где указал на главные черты власти — умеренность и порядок. В том же году выходило и собрание сочинений Жуковского, куда была включена басня «Орел и голубка», переведенная им из Гете в 1833 г. В новом контексте она стала звучать как грозное предупреждение русскому правительству:

С утеса молодой орел
Пустился на добычу;
Стрелок пронзил ему крыло,
И с высоты упал <...>
«Умеренность прямое счастье»
[Там же: II, 291].

На протяжении творческой истории стихотворение «К Русскому великану» меняло свое название. Первоначально текст был озаглавлен «К великану», затем — «Северный утес», наконец — «К Русскому великану». К сожалению, мы не можем точно датировать данные изменения. Однако оконча-

тельное заглавие в форме обращения («К Русскому великану») актуализирует проблему адресации текста.

Напомним, что Державин в образе «орла» изобразил Суворова, которого Жуковский в стихотворении «Певец во стане русских воинов» 1812 г. представил в образе «великана»: «Но кто сей рьяный великан <...> / То грозный наш Суворов!» [Жуковский: I, 227]. По нашему мнению, «великан» и «орел» из стихотворения Жуковского 1848 г. — это две «поэтические» ипостаси, в которых также воплотился конкретный русский генерал. На это указывает и стих «Твой орел, пространства князь». Княжеский титул имел главнокомандующий русскими войсками генерал Паскевич. Именно к нему в 1849 г. Жуковский писал: «... когда глядишь на эти листы <венгерской кампании. — Т. Г.>, <...> тебе мечтается широкая магическая сеть, раскинутая по целому краю могучим **русским великаном**...» [Жуковский 1902: XI, 38]. Стихотворение «К Русскому великану», как мы предполагаем, обращено к графу Эриванскому, светлейшему князю Варшавскому И. Ф. Паскевичу.

На западной границе с 1848 г. стояла многотысячная русская армия под предводительством Паскевича. Это обстоятельство могло отразиться в строках стихотворения: «Многоглавые встают / И толпою всей бегут / На твои ударить стены» [Жуковский: II, 335]. Косвенный аргумент в пользу предложенной адресации текста находим также в интересном совпадении. Николай I писал 2 (14) января 1849 г. главнокомандующему: «Мы более других обязаны Бога благодарить за то, что <...> помог стоять стеной против. Ты зодчий сей стены, ты ея блюститель» (цит. по: [Щербатов: 268]). Стихотворение могло иметь двойную адресацию и быть обращено также и к царю, которого в тексте 1834 г. «Грянем песню круговую...» поэт называл «Богатырь и великан» [Жуковский: II, 298].

Колебания в названии текста между «К великану» и «К Русскому великану» указывают на неоднозначность, но также и на важность для поэта образа «великана». Напомним, что в программном послании Жуковского «Императору Александру» великан — это Наполеон:

... великан,
Питомец ужасов, безвластия и брани,
Воздвигся, положил на скипетр тяжки длани,
И взорами на мир ужасно засверкал —
И пред страшилищем весь мир затрепетал
[Там же: I, 368].

В подтексте стихотворения 1848 г. Жуковский актуализировал, в том числе, и образ Наполеона, закрепленный в русской поэтической традиции⁸⁰.

⁸⁰ Такой образ Наполеона и его трактовка были устойчивы в русской поэзии. Ср., например, строки из пушкинского «Наполеона» 1821 г.: «И длань народной Немезиды / Подъяту видит великан: / И до последней все обиды / Отплачены тебе, тиран!» [Пушкин: 60]. См. также «Два великана» (1836) Лермонтова и др.

Но поэт подчеркнул, что, в отличие от французского тирана, чертой русского великана / генерала и царя является его миролюбие:

Не тревожься, великан!
Мирно стой, утес наш твердый <...>
Стой среди всевозмущенья
Недоступен, тих, один

[Жуковский: II, 335].

Русский великан — это гарант внутреннего спокойствия, достигнутого отстранением от внешних, европейских дел и заботой о внутреннем, народном благе.

Для нас важно здесь указать на тот факт, что образ «русского великана» мог быть соотнесен в читательском сознании с двумя памятниками николаевского Петербурга. Это — Александровская колонна и Исаакиевский собор⁸¹. Не исключено, что и сам Жуковский добивался прочтения своего стихотворения именно через архитектурный код — через символы истинной монархической власти и православия как истинной религии. В этой связи приведем отрывок из письма к цесаревичу от 4/16 июня 1848 г.:

...ход России не есть ход Европы, а должен быть ея собственный <...>. У нас ни церковь, ни державная власть не имели реформации <...>. Россия, от ясности и простоты основных начал, может верным, хотя медленным путем дойти к истинной образованности и утвердить на ней свое благоденствие. Для нея к тому два средства: с одной стороны *развитие церкви*, с другой — *развитие самодержавия* [Жуковский 1885: VI, 554–557].

Жуковский развил семантический потенциал поэтических клише. В стихотворении «К Русскому великану», опубликованном в сентябре в «Северной пчеле» и «Москвитянине», отразились главные черты политической программы, предлагаемой поэтом в это время.

Осенью Жуковский также надеялся вернуться в отечество. Но 7 октября 1848 г. он вынужден был признаться в письме к Плетневу: «Мне хотелось в Россию, а Бог велел остаться в Германии» [Плетнев: III, 603]. Императорская семья забыла о Жуковском. Поэт, расстроившись по поводу молчания Константина Николаевича, писал его наставнику Литке 9 октября:

Я писал к нему в самый день его бракосочетания из Бадена. Узнав *случайно*, что этот день (30 августа) был назначен для этого Русского праздника. <...> Я столько времени жил всею душою в семействе царском, все с ними делил,

⁸¹ Ср. строки Тютчева из текста 1844 г.: «Глядел я, стоя над Невой / Как Исаака-великана...» [Тютчев: 108]. В стихотворении Жуковского утес, одиноко стоящий в бурю, напоминает фрагмент из статьи «Воспоминание о торжестве 30 августа 1834 г.». Описанию праздника предшествует картина одиноко стоящей Александровской колонны, сопротивляющейся природной стихии. К тому же колонна была самым высоким монументом в Петербурге, что позволяет также соотнести ее с образом великана.

а теперь от всего в стороне. <...> **Для них же я, конечно, как улетевшая тень. Грустно бывает при мысли, что могу быть забыт теми, для кого жил сердцем** [Жуковский 1887: 338–339].

Знаменательно, что на следующий день 10 октября 1848 г. Жуковский в письме к Л. В. Дубельту объяснял свое положение, невозможность вернуться в Россию:

Здравствуйте, любезнейший Дядюшка Леонтий Васильевич, я надеялся сам нынешней осенью обнять вас; ан нет, живи не так, как хочешь, а так, как Бог велит. Жена больна и я принужден переехать в Баден, отдать ее на руки Гутгерта, и между тем жить, скрипя сердце, посреди бунта, всякого рода пакостей и завидовать тем, которые ушли от этого волкана в покойное пристанище наше Святой Руси [Жуковский 1848].

Объяснения поэта удовлетворяли корреспондентов, но одновременно уже им надоедали. К концу 1848 г. отношения между Жуковским и императорской семьей осложнились, одновременно обострились также отношения между Россией, Францией и Пруссией. Поэт писал цесаревичу из Франкфурта в Петербург 3 (15) декабря – 19 (31) января 1849 г.:

С другой стороны **неприкосновенно** стоит **утес** России, самобытный, от всего **отстраненный**, преисполненный жаркою, но не вулканическою теплотою самодержавия, которая работает внутри его медленно, **тихо**, но постоянно и которая своею творческою растительною силою произведет наконец то, что и все меньшие скалы этого **утеса** повсеместно облекутся ковром земли плодородной, приносящей все плоды севера, востока, запада и юга для поколений грядущего времени. Аминь! [Жуковский 1885: VI, 584]

Не война, а мирная энергия русского вождя победит революционные стихии и принесет благоденствие — в этой идее заключено политическое кредо Жуковского, который «переложил» здесь в прозаическую форму стихотворение «К Русскому великану». Поэт развил свою идею и традиционный образ: на стоящем в стороне русском утесе, единственном, сохранилась «земля плодородная», т.е. основополагающие универсальные ценности, которые должны быть также восстановлены в других государствах. Эту миссию, с точки зрения убегающего от революции Жуковского, призвана исполнить Россия. Русский утес, как казалось поэту, окажет положительное влияние на охваченные революцией «меньшие скалы» исключительно мирным путем — примером постепенного, успешного внутреннего развития.

В Пруссии и во Франции, однако, ожидали вторжения русских войск. 25 декабря 1848 г. Мериме иронично заметил: “J’apprends le russe. Peut-être cela me servira-t-il un jour a parler aux Cosaques dans les Tuileries” (цит. по: [Cadot: 511]). Судя по письмам Николая I к Паскевичу, генерал намекал императору на необходимость самостоятельно разрешить прусский вопрос введением на территорию Пруссии своих войск. 29 января 1849 г. Жуковский писал наследнику престола о прусских делах:

Теперь дело идет к развязке или к новой завязке. Вот увидим, сумеют ли господа многоученые профессора развязать Гордиев узел, и не придется ли прибегнуть к мечу Александра? Но довольно. Кончу благодарностью к Богу за нашу Россию и за то, что она так мирно стоит на своем твердо-каменном берегу и так бесстрашно смотрит с высоты его на бурю в пучине [Жуковский 1885: VI, 589].

Десять дней спустя после последнего письма Жуковский внес существенный штрих в свою политическую концепцию: он, по сути, допускал теперь военное вмешательство России, но исключительно с миротворной, высокой целью. Меч принадлежит, конечно, не Александру Македонскому-завоевателю, а Александру I, восстановителю престолов. Идеи Священного Союза актуализировались.

Раздумья Жуковского о современной ситуации сопровождались не менее взволнованными мыслями о своем положении вдали от «Святой Руси», вблизи революционного «вулкана». Получаемые из Петербурга письма нагнетали тревожную атмосферу. Приведем отрывок из черновика письма Р. Р. Родионова поэту от 6/18 января 1849 г.:

П. А. Плетнев поручил мне уведомить вас, что он имел свидание с Г.<осударем> Цес.<есаревичем>, и его Высочество весьма милостиво изволил выразиться с глубоким чувством почти такими словами: «Жаль нам В. А. сомневается в нашей любви к нему; он навсегда останется <неразб.>. Что же касается до выражения “он зажился за границей”, то это совсем не упрек, а ласковый призыв друга его, который вовсе не желал лишить его удовольствия там, где ему хорошо и нужно». — После этого мне должно сказать, что все ваши здешние друзья не только не забыли вас, но горят желанием скорее увидеться. Появление ваших сочинений, как электричество коснулось сердцам русских, и общий голос громко начал звать вас на родину. И я от всего сердца кричу: Господи, исполни общее желание! [Родионов]

Хотя в самой переписке Жуковского с наследником вопрос о праве и сроках проживания за границей больше не обсуждался, но за этой кажущейся безмятежностью при дворе нарастало чувство раздражения по отношению к поведению поэта, который за последнее время не приблизился к российским границам, но, переехав в Швейцарию, географически удалился от них. К тому же с отъездом из Франкфурта он терял непосредственный контакт с русской миссией. Не могло не вызвать нервозности и такое обстоятельство, как приближение творческого юбилея Жуковского и отсутствие виновника торжества на родине. Не случайно поэтому, что сначала Плетнев пытался смягчить смысл фразы цесаревича, а затем Родионов от себя лично и от русского «общего голоса» советовал Жуковскому скорее вернуться в Россию. Однако празднование юбилея в Петербурге прошло без поэта: в кругу его друзей и в присутствии наследника престола.

Возвращение Жуковского из-за границы стало темой еще одного разговора между цесаревичем и Плетневым, который писал другу 28 февраля / 11 марта 1849 г.: «Помните, что к Маю 1849 года вы обещали (одни или

с семейством) *непрерывно* приехать в Россию. **Сдержите это обещание**». Плетнев был явно обеспокоен складывающейся ситуацией, когда в адрес его друга наследник позволял острые замечания. Ситуация вокруг Жуковского снова накалялась:

В <еликий>. К<нязь>. Цесаревич поручил мне изъяснить вам, что слова: «я наперед знал, что ему трудно будет подняться назад, в отечество» были **произнесены** без **укоризны**, а тем менее без **гнева**. Они только показывают, как *все* любят вас и желают вас видеть [Плетнев: III, 611–612].

Во второй раз за последние два месяца наследник вынужден оправдывать свои слова и также не лично, а через третье лицо. Эти два обстоятельства заставляют, несмотря на общие (возможно, искренние) выражения любви, усомниться в полном отсутствии в его высказывании упрека Жуковскому. Личные отношения, статус при дворе и общественное положение поэта накладывали на поведение цесаревича ограничения.

До мая 1849 г. Жуковский жил в Баден-Бадене, затем вследствие обострившейся политической ситуации, переехал в Страсбург. Манифест Николая от 26 апреля (8 мая) 1849 г. о начале Венгерского похода поэт поддержал. Вот строки из письма к А. Я. Булгакову от 17/19 мая 1849 г.: «Дай Бог теперь другой славы с мечем в руках против бунта и анархии» [Жуковский 1878: 583]. Находясь в центре событий, реагируя на них остро и болезненно, Жуковский как бы забывал (по крайней мере, временно) свои, ранее так настойчиво им же повторявшиеся принципиальные идеи — о невмешательстве России в дела Запада. Жизненные обстоятельства семьи поэта оставались непростыми, Жуковский по-прежнему не имел возможности вернуться в отечество то из-за холеры, то из-за революции, то из-за больной жены. Поэт устал, он хотел душевного спокойствия и мира, окончания окружающей его революционной анархии, пусть и путем войны.

Венгерская кампания закончилась быстро, русские потери были незначительными. В августе 1849 г. Жуковский отправился в Варшаву для личного свидания с Николаем I, который готовился встретить возвращавшиеся в Россию войска. По приезде поэт отправил письмо Родионову:

Что здесь? Спросите вы. Здесь в Варшаве, куда я третьего дня ввечеру приехал из Баден-Бадена. Не рукоплескайте, мой любезный, этот приезд нас с вами не сблизил: я приехал сюда видеть великого князя и представиться Государю Императору и узнать от него позволит ли на будущую зиму мне остаться в Баден-Бадене <...>. Теперь покойно только в России. <...> Болезнь жены <...> принуждает меня еще на несколько месяцев жить изгнанником в прекрасном климате весьма не прекрасного Бадена. Но я еще не знаю, позволит ли Государь остаться. Весьма вероятно, что позволит. В противном случае вы увидите меня одного в Петербурге; семью оставлю за границею [Родионову 130: 53].

Главная цель поэта — добиться очередной отсрочки для пребывания за границей. Жуковский был готов к различным (как положительным, так

и отрицательным) решениям ситуации. Итоги аудиенции с царем поэт описал в следующем письме к Родионову от 29 августа 1849 г.:

И я рад что сам приезжал в Варшаву, а не письменно просил у Государя отсрочки: я мог изъяснить настоящие причины моего непроизвольного, грустного отсутствия из отечества. Государь принял меня весьма милостиво, благоволил дать мне безсрочный отпуск и выразил мне милость свою, пожаловал мне орден белого орла за пятидесятилетние труды на поприще словесности [Родионову 130: 57].

Таким образом, император подтвердил дарованное в 1841 г. право на неограниченное пребывание за границей. пожалование ордена Белого Орла, рескрипт о котором Жуковский просил опубликовать, подтвердило высокий статус поэта при дворе, несмотря на его проживание за границей. Спустя некоторое время в другом письме к Родионову Жуковский снова подчеркнул важность состоявшейся встречи с Николаем I: «Съездив в Варшаву, я имел возможность объяснить государю мое положение» [Там же: 60]. Диалог и взаимопонимание с императорской семьей, казалось, были восстановлены. К тому же, Жуковский получил письмо от молчавшего Константина Николаевича, который делился мыслями о Венгерской кампании.

Военное сотрудничество Австрии и России актуализировало размышления поэта о предназначении русского царя, о миротворческой миссии Священного Союза. Идеальная политика, как ее видел автор «География Победоносца», заключалась в том, что:

Россия все зовет державы
В могучий с ней союз вступить,
Чтоб миротворной правде слить
В одно семейство все народы
[Жуковский: II, 331].

С августа 1849 г. поэтические строки начали наполняться конкретным, практическим смыслом. Варшавская поездка ознаменовалась раздумьями Жуковского о новом религиозно-политическом проекте, который имел бы мировое значение⁸² — выхода из современной кризисной ситуации и обретения гармонии и веры. Поэт пришел к заключению: идеальный мир может стать реальным, если русский царь и европейские монархи вместе вернут единому христианскому миру утраченный Иерусалим.

⁸² Ср. со строками Вяземского из стихотворения «Святая Русь»: «Как я люблю твое значенье / В земном, всемирном бытии» [Вяземский: IV, 314]. О диалоге между двумя друзьями о роли России / Святой Руси (см. подробнее: [Киселева 2007]).

§ 2. Утопия, или Иерусалимский проект поэта

*О, что же медлишь ты, Готфред?
О, долголь будет время
Тиранств гнести Ерусалим?..
Возстань на избавленья,
Сзови вождей и в сердце им
Вдохни святое рвенья!
Сам Бог избрал тебя вождем*

[Тассо: 8].

Иерусалимский проект был изложен Жуковским в письмах к великим князьям Александру и Константину Николаевичам в конце 1849 – начале 1850 г. и не был никогда опубликован в виде отдельной статьи. Предложение поэта, заключавшееся в освобождении храма Гроба Господня и Иерусалима из-под власти турецкого султана, не было новым, если мы вспомним историю крестовых походов или ознакомимся с описаниями путешествий по Святым местам первой половины XIX в. Жуковский, однако, был убежден: Иерусалим должен перейти под контроль христианской европейской армии исключительно мирным, *бескровным* путем. Поэт подчеркивал — необходимо избежать войны с Оттоманской империей. В 1849 г. он предложил, по сути, свой вариант урегулирования будущего конфликта, приведшего к началу Восточной войны в 1853 г. Кем же был Жуковский: автором утопии или тонким историком?⁸³ Для ответа на поставленный вопрос рассмотрим генезис Иерусалимского проекта.

Напомним о событиях 1827 г., когда в императорской семье родился второй сын. Выбор имени для новорожденного — Константин — был знаковым и диктовался желанием укрепить династические основы

⁸³ В юбилейном 1883 г. Витевский писал: «Как бы прозревая в глубину грядущего, Жуковский говорит: “Не брать и никому не давать Константинополя”. Политика России в последнюю войну за освобождение Славян доказала, насколько было правдиво и основательно воззрение Жуковского на вопрос об овладении Византией» [Витевский: 35]. В другом юбилейном году, в 1902 г., Кирпичников настаивал: «В объяснение этой несколько странной и во всяком случае не своевременной идеи миролюбивого поэта, необходимо заметить, что известное самоопределение Жуковского: *Я все дитя и буду вечно / Дитя, жилец земли беспечной* — ни в какой другой области не оказывается столь справедливым, как в области политики» [Кирпичников: 9]. Как представляется, для понимания роли Жуковского-политика необходимо реконструировать высочайший взгляд на иерусалимский проект. Отметим, что историки Восточной войны конца XIX в., описывающие полемику 1850-х гг. вокруг ключей от Иерусалимского храма, не упоминают о проекте поэта. Мысли Жуковского воспринимались исключительно как частное мнение. Поэт как идеолог николаевского царствования не был востребован официальной культурой.

монархии⁸⁴. Рифма, возникшая между именами сыновей Николая и именами его братьев, спровоцировала появление слуха о том, что царь, возможно, возвратится к планам Екатерины II, которые были призваны осуществиться в ходе предстоящей русско-турецкой войны. В очередном отчете Булгарин сообщал шефу жандармов:

Обстоятельство, что Великий князь Константин Николаевич родился в то самое утро, когда Дмитрий Донской праздновал победу над Мамаем, почитают счастливым предзнаменованием для новорожденного. Известно также и напечатано в русской книге при покойной Императрице Екатерине, что на Востоке существует пророчество, якобы русский князь Константин освободит Царьград от мусульман. Когда Цесаревич Константин Павлович объявлен был Императором, многие носились с этою книгою и особенно купечество. Ныне опять взялись за оную.

На выставке в Академии художеств, где множество было посетителей, только и разговору было, что о рождении Великого князя, о Дмитрие Донском и об имени Константина, что почитается счастливым предзнаменованием [Видок: 209].

А. Х. Бенкендорф также извещал императора:

Не менее также занимаются толками на счет новорожденного великого князя, о котором по объявлении высочайшего рескрипта между старообрядцами, духовными и напоследок во всех состояниях стремительно перелетать стали от одного к другому приятные предсказания из Апокалипсиса и прорицание Мартына Задеки, в коих будто бы сказано, что в плодородный год, каковым почитается 1827-й, родится царь Константин, который освободит Иерусалим и Гроб Христов от ига неверных, и наречется 2-м. Почему в публике и предвещают быть спасителем Иерусалима великому князю Константину Николаевичу (цит. по: [Кучерская: 234]).

Жуковский интересовался ходившими слухами. В его личной библиотеке имелись обе книги: Любопытное предсказание сто шестилетнего славного старика Мартына Задека о взятии Константинополя, столицы турецкого султана. М., тип. Н. Степанова, 1828; Предсказание о падении турецкого царства аравийским звездословом Муста-Эддыном, напечатанное в первый раз в С.-Петербурге, 1789 года. М., тип. Н. Степанова, 1828 [Лобанов: 345; 347].

Николай I отчеркнул следующее место из отчета Бенкендорфа:

Питаемое славой блестящих военных подвигов своих героев, национальное чувство являлось источником некоторого неудовольствия в массах тем, что наши победоносные войска не вошли хотя бы на несколько часов в Константинополь. С разных сторон слышалось: «Пусть бы пробили поход русские барабаны в Константинополе и слава для России и государя была бы вечна». Масса не разбирается в политических затруднениях и не понимает их; ее увлекает ме-

⁸⁴ Ф. Булгарин констатировал: «...все, даже недовольные, хвалят Государя, что назвал сына Константином и нарек Цесаревича крестным отцом» [Видок: 208].

лочное тщеславие, поэтому-то известие об Адрианопольском мире не вызвало большой радости: все ждали Константинополя [Бенкендорф: 113–114].

Общественное мнение выражало неудовлетворение результатами русско-турецкой кампании, несмотря на ее полный военный и дипломатический успех. На протяжении всего царствования Николаю Павловичу приписывали как в Европе, так и в России планы, которые он сам никогда не намеревался осуществлять. Для многих подданных в конце 1820-х гг. «национальная идея» вновь включала в себя решение турецкого вопроса: освобождение Константинополя и/или Иерусалима.

В 1832 г. поэт создал балладу «Плавание Карла Великого». По мнению И. Виницкого, это сочинение «фиксирует те черты русского императора, которые Жуковский поэтизировал (можно сказать, что это стихотворение — поэтическое изображение характера и миссии Николая)» [Виницкий: 197]. Подчеркнем важные для нашего сюжета строки:

Раз Карл Великий морем плыл,
И с ним двенадцать пэров плыло,
Их путь **в святую землю** был;
Но море злилося и выло

[Жуковский 1959–1960: II, 211].

Баллада 1832 г. уже, по сути, программировала сценарий политического проекта 1849 г.: истинный монарх Николай I вместе с другими государями направляется в Иерусалим, преодолевая морские препятствия и исторические «бури». В другой балладе 1832 г. «Старый рыцарь» Жуковский поэтизировал крестовые походы, что было модной темой в литературе (В. Скотт).

С начала 1840-х гг. началась дипломатическая борьба между Россией, Францией, Англией за право влияния на политику турецкого султана. В 1844 г. Николай инкогнито прибыл в Лондон с целью обсудить с английским правительством вопрос о судьбе Османской империи в случае ее развала. По мнению М. Геллера, эта поездка стала «первым шагом на пути к Восточной войне» [Геллер: 70]. В 1845 г. была впервые организована поездка в Константинополь русского великого князя, и, разумеется, им стал Константин Николаевич⁸⁵. 7/19 мая он писал Жуковскому:

⁸⁵ 11 марта 1845 г. Смирнова-Россет записала в дневнике: «К<онстантин> Николаевич помешался на Константинополе, пишет по-турецки, рисует виды К<онстантинополя>; только и разговору, что про путешествие, которое совершится летом. Он точно умен, и ум его живой и деятельный, но беда, если эту деятельность обратят на мелкие интересы. Если он из этой атмосферы не выйдет, плохо будет» [Смирнова-Россет 1989: 11]. Позднее она прибавила: «К<онстантин> Николаевич при мне говорил, что после Олега он первый из князей королевской крови русской подьедет к Константинополю. Спрашивал меня, что мне оттуда привезти. Я сказала: “Возьмите город”. Он положил палец ко рту и вполголоса сказал: “**Он будет, будет наш — уж этого не миновать**”» [Там же: 17]. Согласно официальным декларациям Николая I, Россия не имела планов захва-

Когда Вы будете читать это письмо, я уже буду в Царьграде, в котором не было еще Русского Князя с тех пор, как на его вратах висел щит Олега! Доживу ли я до того времени, что это повторится, что гордый Истанбул снова падет под ударами Русских Перунов? <...> А все такое веселье об этом думать. Я как буду осматривать Константинополь, все буду наматывать на ус, хотя он у меня еще не вырос, **авось когда-нибудь да пригодится** [Письма Константина Николаевича].

По возвращении великий князь составил план «Предположение атаки Царя-града с моря». В ответном письме Жуковский предостерег Константина Николаевича от опасности, которую таили в себе для истории «литературные» мечтания:

Ваш сон о щите Олеговом имеет свое поэтическое достоинство; в практическом отношении он просто сон, и желаю, чтоб он навсегда оставался сном несбывшимся. Эта Византия — роковой город. Ею решилось падение Рима. <...> Нет, избави Бог нас от превращения Русского Царства в Империю Византийскую. Не брать и никому не давать Константинополя, этого для нас довольно. Нет, России, для ее блага, для ее истинного величия <...> нужно внутреннее, не блистательное, но строго-постоянное, национальное развитие [Письмо к Константину Николаевичу: 1411–1412].

Жуковский не одобрял мысли великого князя, который видел в завоевании Константинополя историческую миссию России. Поэт предвидел, что конфликт с Портой из-за Стамбула / Царьграда неминуемо обострил бы вопрос о морских проливах, привел бы к крупномасштабным военным действиям с участием других заинтересованных государств (Англии, Франции, Австрии). Поэтому Жуковский, справедливо опасавшейся последствий такой войны для России, неизменно повторял мысль о внутреннем развитии и приумножении народного блага.

Однако усиливающийся общественно-политический кризис в Европе, тревожные мысли о своем будущем подтолкнули и самого Жуковского к бегству из реального в идеальный мир. 31 января / 12 февраля 1847 г. Жуковский писал к М. С. Скуридину:

Вы живете на самом краю вулкана, из которого выходят теперь вредные пары, разливающие свое вулканическое действие на весь европейский мир; <...> Опишу вам картину, которую в эту минуту любят мои ребятишки. Над Майном густой туман; весь берег противный и все на нем здания покрыты густым белым облаком; ничего не видно, кроме одного золотого креста церкви, который кажется сияющим в голубом небе над облаками земли, и повторяет слово, слышанное Константином: *с сим знаменем победишь* [Письмо к Скуридину: 628–629].

тить Константинополь. Вместе с тем, ажиотаж Константина Николаевича ставит перед исследователем вопрос, требующий опровержения или доказательства: не существовало ли какого-либо тайного «греческого» проекта, касающегося судьбы брата цесаревича?

Надвигающему хаосу поэт противопоставил христианскую веру, которую необходимо защитить и утвердить. Мотив некоего крестового похода, скорее всего, случайно промелькнул в этом рассуждении поэта. Ему по-прежнему были чужды мысли, напоминающие о «греческом» проекте. Возникает вопрос: каким образом Жуковский, в итоге, пришел к предложению освободить не Царьград, а именно Иерусалим и храм Гроба Господня?

Точного ответа, основанного на документальном свидетельстве, нет. Выдвинем следующую версию. Известно, что в начале 1840-х гг. Жуковский вновь обратился к своему замыслу историсофской поэмы «Агасвер», в итоге оставшейся незавершенной. Действие начинается с казни Христа, затем переносится в современное время, когда происходит встреча Наполеона с Агасвером, чья исповедь составляет остальное содержание сочинения. Для нас важно указать на то, что причину разрушения Иерусалима Жуковский связывает с отвержением Христа народом Израиля. Сюжет поэмы — это поиск Агасвером смерти, который оказывается путем к вере во Христа. Агасвер постоянно возвращается в Иерусалим.

Я спящий плыл к брегам Святой Земли <...>
Достигнул я Ерусалима. Он
Громадой черных от **пожара** камней,
Как мертвый труп, иссеченный в куски <...>
То в самый праздник Пасхи; но его
Не праздновал никто: в Ерусалиме
[Странств. жид: 40; 42].

По нашему предположению, существует связь между иерусалимским проектом и «Агасвером». Описание разрушенного пожаром Иерусалима напоминало созданный Жуковским в письмах образ Европы. (Поэт часто использовал образ пожара (вулкана, лавы) для изображения революционной атмосферы конца 1840-х гг.). Священная и литературная история соотносились с современными событиями.

В письме к Константину Николаевичу от 19/31 октября 1849 г. Жуковский резюмировал: «Что же значит отсутствие поэзии, это ясно показывает наше бедственное, прозаически-разрушительное время» [Жуковский 1878: VI, 370]. Создание поэтического сочинения воскрешало уничтоженное «все святое, божественно-историческое». Идеальная история разворачивалась в художественном тексте. Современный мир, согласно автору поэмы «Агасвер», должен преобразоваться в христианский, обрести подлинную веру, которая, в итоге, восстановит разрушенный Иерусалим-Европу. Поэтому миссию России и других христианских государств поэт видел в освобождении не Константинополя, а Иерусалима и храма Гроба Господня. Это был уже реальный путь современной истории. Общественно-политические события 1840-х гг. разрушили границу между двумя планами: сон «о земле далекой» мог оказаться явью, предсказания и поэзия — историей.

По случаю одержанной в Венгерской кампании победы и получения ордена Георгия Победоносца великий князь Константин Николаевич поделился с поэтом новыми мыслями о сущности войны:

Этот поход был мне очень полезен во многих отношениях. Во-первых, <...> я убедился, что война есть величайшее несчастье, и потому желать ее есть грех. <...> Наконец я увидел, что невозможно быть: хорошим воином не будучи добрым Христианином [Письма Константина Николаевича].

Это письмо оказалось важным для Иерусалимского проекта, хотя Жуковский не ориентировался специально на великого князя: как нам представляется, имя и статус корреспондента, толки, циркулировавшие о Константине Николаевиче, не оказали на него влияния. Для поэта размышления великого князя о необходимости вести войну, если она неизбежна, по-христиански актуализировали его собственные идеи об истинном правителе. Еще в рассуждении об Александре Невском, составленном для наследника престола в середине 1820-х гг., Жуковский выделил именно христианские качества князя-воина. В ответном письме к Константину Николаевичу в конце ноября 1849 г. поэт, однако, нашел своим абстрактным идеям практическое применение:

Перед моим взором сияет теперь событие другого рода. <...> русский царь мог бы сказать султану: *Иерусалим свободен, он отныне принадлежит христианской Европе*. <...> какая слава для России, когда ее царь, оскорбленный безумием турков — **мироносный Годофред** нашего века — произнесет его! [Жуковский 1878: VI, 377–378]

В основе идеи христианского похода на Иерусалим лежала мысль о восстановлении христианских ценностей, что, согласно Жуковскому, обусловило бы всеобщее нравственное возрождение и излечение от революционных идей. Обращение к христианским истокам подразумевало возвращение святых мест всему христианскому миру. Иерусалим (в отличие от Константинополя) представлял собой идеальное место, где пересекались религиозные интересы православных, католиков, протестантов. В противовес дипломатическим баталиям вокруг Стамбула / Константинополя Жуковский составил проект, в центре которого стоял Иерусалим как город примирения и возрождения, что и обусловило ряд его неожиданных идей.

С августа 1849 г. поэт пытался сочинить стихи на победу в Венгерском походе, но так и не смог⁸⁶. Однако в декабре он уже восторженно писал к генералу Паскевичу, возглавлявшему кампанию:

⁸⁶ Недостатка в откликах на победу русских войск не было. Так, например, дважды был издан сборник «Новая слава России или наши в Венгрии» Петра Татаринова, автор которого сопровождал войска всю кампанию и воспевал каждое ее событие: от объявления царского манифеста до возвращения русской армии. «*Крамол ты страх*» [Татаринов] — такой образ России и русского царя, созданный Петром Татариновым в своем цикле, однако, был чужд Жуковскому.

... русский полководец <...> **примилив** повел обратно в отечество полки свои, **не оставив на пути своем ни бед, ни разорения**; <...> главной причиной такого полного успеха была, при великой материальной силе, **мирная энергия русского вождя** <...> его <царя. — Т. Г.> **бескорыстие**, его рыцарская честность [Жуковский 1902: XI, 39].

Жуковскому было важно описать венгерский поход как великодушный подвиг русского царя, подчеркнуть, что победа была достигнута мирными средствами, а не военным превосходством. Несмотря на прежнее признание, что «пушки сладили с бунтом», поэт теперь планомерно создавал концепцию *мирной христианской войны*⁸⁷.

Проект Жуковского, хотя предполагал присутствие в Святом городе единой русско-европейской армии, носил мирный характер: «Повторяю: я не крестовую войну проповедую. **Пролитие крови** за Христа или в честь Христа **есть святотатство**» [Жуковский 1878: VI, 378].

Поэт по-своему раскрыл мысль, выраженную в письме Константина Николаевича, о сущности воина-христианина, который должен был защищать христианские ценности по-христиански, т.е. без реального применения оружия. Турецкий султан, по мысли Жуковского, *добровольно* передаст святые места европейским государствам:

Теперь и в мысли не приходит, чтобы султан мог отказать исполнить требование *всех* государей Европы об освобождении Гроба Христова и Его Града ... [Письмо к цесаревичу: 338].

Сам Жуковский неоднократно высказывал сомнения в практической ценности своих предложений 1840-х гг. Но каждая его утопическая идея всегда основывалась им на конкретном историческом примере. В данном случае он явно опирался на прецедент лета 1848 г., когда турецкие и русские войска вошли в Дунайское княжество, но раздел сфер влияния произошел мирным путем. Турки, видя военное превосходство русской армии, отступили за Дунай и заняли те территории, которые находились вне политических интересов России. Таким образом, прецедент — мирное решение тер-

⁸⁷ Представление Жуковского о *мирной войне*, вероятно, восходило к русской одической традиции. Напомним «Оду на торжественный праздник тезоименитства Ее Величества сентября 5 дня 1759 года и на преславные Ее победы, одержанные над королем Прусским нынешнего 1759 года...» Ломоносова:

Чтоб миром свергла ты коварство; <...>
Не слышат гибельного стона,
Не видят пламенной зари,
Дивятся и в войне покою <...>
Восходит выше тишиной

[Ломоносов: 150–152].

Литературная память во многом предопределяла ход размышлений Жуковского о современной истории.

риториального вопроса между турками-нехристианами и русскими-православными — был создан. В этом контексте идея о мирном освобождении Иерусалима для Жуковского не выглядела парадоксальной. Поэт строил проект, исходя из исторического опыта, который, по мнению автора, доказывал возможность его реализации. Мысль о формировании общеевропейской армии, которая должна освободить и защищать Иерусалим, — это апелляция к другому историческому прецеденту: отголосок антинаполеоновской войны 1812–1814-х гг., когда была создана единая европейская коалиция. И, тем не менее, отсылка к этим реальным прецедентам не спасала Иерусалимский проект от утопизма.

Во вступительной статье к сборнику прозы поэта А. Немзер справедливо указал: «Сквозь облик реальной России всегда проступает идеал «Святой Руси», а империя Николая I мыслится как важнейшая ступень на пути к этому идеалу» [Немзер 2001: 9]. В своих письмах 1840-х гг. Жуковский подчеркивал, что Николай I остался единственным государем, сохранившим в революционное время священный ореол монарха. Именно высокий статус русского царя среди других европейских государей должен был, по его мысли, поставить Николая во главе миссии по освобождению храма Гроба Господня.

В письме к Константину Николаевичу Жуковский заметил: «...наш высокоумный век задумал вычеркнуть святое слово *Божие милостию* из титула земной власти» [Жуковский 1878: VI, 378]. В письме к фон Шаку от 7 июля 1848 г. поэт особо подчеркнул: «слово: Божиею милостию имеет свой полный смысл в императорском титуле Николая I-го» [Жуковский 1902: X, 111]. Такую высокую характеристику русский монарх, по мысли автора, заслужил своим поведением в междуцарствие 1825 г. Поэт противопоставил разрушительным европейским событиям 1848 г. эпизод из русской истории 1825 г. — присягу Николая Павловича брату Константину, как поступок, направленный на сохранение порядка и авторитета власти. Сомнительное с политической точки зрения (в том числе, и для придворных) поведение Николая в 1825 г., согласно логике Жуковского, подтвердило его монаршие права. Ситуация 1825 г., как и характер «великодушной» Венгерской кампании, послужили для поэта в 1849 г. одним из аргументов для обоснования права России возглавить поход в Иерусалим.

Выбранный Жуковским для характеристики Николая I образ — «мироносный Годофред» — лишь подчеркивал избранность, уникальность русского монарха в современном историческом контексте. Годофред — это избранный Богом государь, которому архангел Гавриил передал божественный приказ — освободить Иерусалим от неверных. Годофред создает объединенное войско, которое под его руководством движется на Ближний Восток. Этот образ из поэмы Тассо «Освобожденный Иерусалим» актуализировался в русской литературе, благодаря многим переводам (например, Батюшкова, Шишкова). В 1828 г., когда началась русско-турецкая война,

появились переводы поэмы, выполненные С. Е. Раичем и А. Ф. Мерзляковым⁸⁸.

Однако было бы ошибочно полагать, что Жуковский принял на себя роль архангела Гавриила из поэмы Тассо — вестника Божественного откровения, предназначенного для русского царя. Поэт иногда, действительно, использует «провиденциальную» лексику при передаче своих мыслей, но все же источником проектов Жуковского было не религиозно-мистическое прозрение. Идея Жуковского об освобождении храма Гроба Господня — это результат размышлений о современном ему революционном времени и об исторической роли государей, это итог пристального наблюдения за поведением правителей на европейской сцене.

В 1841 г. Пруссия пыталась урегулировать ситуацию вокруг иерусалимского храма и предложила пяти державам составить смешанный гарнизон для защиты святых мест. Эта идея, отклоненная тогда русским правительством, возникла снова в Иерусалимском проекте Жуковского. В начале января 1850 г. он писал цесаревичу:

...ни *один* исключительно, а *все вместе* Европейские государи сделались бы только стражами этой святыни <...>. Вызов на такой святой союз принадлежит Русскому Царю, как представителю Православия [Письмо к цесаревичу: 339].

Поэт развил прусскую инициативу 1841 г. с учетом возникших к 1850 г. новых политических обстоятельств. Как полагал Жуковский, роль «нового Годофреда» была объективно предназначена Николаю Павловичу, так как правители главных европейских государств дискредитировали себя. Фридрих-Вильгельм IV проявил в событиях 1848–1849 гг. непоправимую слабость, о чем поэт постоянно напоминал русскому наследнику. Людовик-Наполеон был президентом, позднее императором, но которого русский царь отказался называть *mon frère*. Юный Франц-Иосиф не смог самостоятельно справиться с венгерским восстанием. Граф Пальмерстон, глава английского правительства, вел непоправимую, с точки зрения Жуковского, политику, которую поэт осудил в письме к Паскевичу, переработанном затем в статью «О русской и английской политике». Николай I, как полагал Жуковский, остался единственным монархом, который может не только уберечь Европу от «революционной заразы», но за которым, как за Годофредом, должны последовать остальные правители.

В этом контексте показательно, что поэт употребил по отношению к Годофреду-Николаю эпитет «мироносный», которое в словаре Жуковского имело два значения: это — не только «приносящий мир», но и «достигающий его мирным путем». Проект, по-видимому, не подразумевал по-

⁸⁸ 22 января 1828 г. Мерзляков, отсылая Жуковскому первую часть своего труда, обратился к нему с просьбой о содействии в публикации полного перевода поэмы Тассо.

корения и удаления мусульман из Святого града. Поэт не призывал царя или остальных монархов завоевать Иерусалим, он настаивал на необходимости учитывать интересы всех сторон, в том числе, турецкой: «... сборное войско <...> могло бы быть в то же время и союзным султану» [Письмо к цесаревичу: 339].

Осуществление христианами государями общего христианского дела по-христиански (т.е. мирно, без оружия) могло, по мысли Жуковского, также послужить залогом будущего объединения разрозненных церквей в единую христианскую церковь:

...восстановление церкви в ее первоначальной чистоте и святости, восстановление не мечем, не притеснением, не ужасами нетерпимости, а великим примером чистой, самоотверженной, вселюбящей веры [Жуковский 1878: VI, 379].

Генезис этой религиозной идеи Жуковского следует искать в ситуации, сложившейся вокруг храма Гроба Господня, когда давний вопрос о починке купола снова приобрел актуальность. Обратимся к текстам русских путешественников, которые, безусловно, входили в круг чтения поэта.

Сочинение Д. В. Дашкова «Русские поклонники в Иерусалиме. Отрывок из путешествия по Греции и Палестине в 1820 году» было опубликовано в альманахе «Северные цветы на 1826 год». Отметим мысль Дашкова, важную для понимания проекта Жуковского:

От самого разделения римской церкви с константинопольскою дух смирения и любви редко управлял их сношениями. <...> Когда прекратится вражда между христианами на Востоке, то первым залогом взаимной терпимости и мира будет равное их участие в служении сей святыне, почитаемой всеми исповеданиями [Дашков: 25, 31].

Автор, как и каждый посетивший храм Гроба Господня, отметил противостояние православных и католиков и предложил свое решение конфликта, которое заключалось бы в проявлении взаимной толерантности. Дашков, в отличие от Жуковского 1840-х гг., избегает ответа на вопрос о времени, о предпосылках достижения возможного компромисса. Размышления путешественника о выходе из напряженной ситуации, о необходимости примирения греческого и римского духовенства под куполом храма Гроба Господня были лейтмотивами литературы путешествий этого времени.

В 1832 г. была издана книга А. Н. Муравьева «Путешествие ко Святым местам в 1830 году». Автор передал беседу между ним и арабом, которая состоялась по пути его в Иерусалим:

«Я христианин и католик; скажи мне, скоро ли придет Царь наш освободить святую землю? Мы все его; о да избавит он нас от ига языческого?» <...> Трогательно и лестно было слышать в диких ущельях Иудеи сие простосердечное воззвание араба у царя русского, к сей единственной, вечной надежде Востока [Муравьев: 18].

Муравьев услышал в словах собеседника признание католиком права русского царя на освобождение Иерусалима — именно эта мысль стала главной в проекте Жуковского. Постепенно росло ожидание, что на Ближнем Востоке русский царь проявит инициативу. Россия традиционно продолжала оказывать финансовую помощь греческой православной церкви, но вплоть до середины 1840-х гг. Николай I не проявлял особого внимания к этому региону. Посетив в 1838 г. Иерусалим, Муравьев представил императору доклад, в котором советовал «принять под свое особое покровительство Святые места» (цит. по: [Воробьева: 47]). Эта идея не была услышана монархом.

В 1841 г., отклонив прусскую инициативу по урегулированию вопроса о статусе Иерусалима, обер-прокурор Священного Синода граф Н. А. Протасов предложил направить в Святой город представителей православной церкви. В 1843 г. архимандрит Порфирий Успенский под видом паломника отправился на Святую землю. Ему было предписано избегать конфликтов, убеждать представителей греческой церкви передать русской церкви один из монастырей, но главное — осмотреться, понять нюансы тамошней обстановки. Через несколько месяцев после возвращения в Петербург, 11 февраля 1847 г. архимандрит Порфирий подал записку об учреждении Русской миссии в Иерусалиме. Несмотря на скромное участие и влияние русской миссии, факт ее основания и прибытия на Святую землю 16 февраля 1848 г., когда разгоралась европейская революция, имел важное значение — не только гуманитарное (оказание помощи русским паломникам), но и идеологическое. Целенаправленная, хотя крайне осторожная, политика, направленная на утверждение России в Святом городе, требовала осмысления. В этом контексте появление проекта Жуковского не кажется странным: чуткий, опытный идеолог предвосхитил, уловил еще невыраженные умонастроения.

Обратимся к дневнику Вяземского. В отличие от своего близкого друга он посетил Святые места весной 1850 г. Центральная тема записей Вяземского — осмысление конфликта между православным и католическим духовенством:

...при нынешнем разделении Божих церквей и при человеческих страстях и раздорах, <...> владычество турков здесь нужно и спасительно. <...> Здешний паша, в случае столкновений, примиритель церквей. Именем и силой Магомета сохраняется если не любовь, то по крайней мере согласие и взаимная терпимость между чадами Христа [Вяземский 2003: 706].

Вяземский не был согласен с Жуковским, считавшим, что политическое, возможно, военное, решение вопроса о статусе Иерусалима непосредственно повлияет на объединение церквей. Вяземский предлагал иной, обратный путь реализации Иерусалимского проекта. По его мнению, освобождению святых мест должно предшествовать некое согласие между

христианскими церквями, которое имело бы не поверхностный, а глубокий характер, ибо внешнее сосуществование могут обеспечить и турецкие силы:

Освобождение Гроба Спасителя из рук неверных — прекрасная, благочестивая мечта, но на месте убеждаешься, что она не только несбыточна, но и нежелательна — разумеется, до поры и до времени, а эта пора — тайна Бога. Сюда также относится, хотя и косвенно и частно, вопрос о владычестве турков в Царьграде; и изгнанию их из Царьграда пора еще не наступила [Вяземский 2003: 706].

Обратим внимание на то, как совершенно по-разному отвечали друзья и во многом единомышленники на вопрос о роли государей. Вяземский не допускает вмешательства монархов, в том числе Николая I, в решение ближневосточной проблемы, которая, с его точки зрения, является по своей сути не политической, но исключительно духовной. Поэтому духовенство, прежде всего, должно создать религиозные предпосылки для освобождения храма Гроба Господня. Вяземский смотрит на монарха в большей степени как на секуляризованного правителя, который на заключительном этапе с помощью силы осуществит общую идею — освободит Иерусалим от нехристиан.

Для Жуковского истинный государь (Николай Павлович) имеет божественный ореол, что обуславливает его духовную силу и превосходство над другими правителями, особенно в революционное время. Такой монарх должен посреди смуты сохранять христианские ценности, т.е. дать толчок христианской Европе для нравственного пробуждения, которое не представляется возможным без возрождения исконной, единой христианской церкви. Залогом объединения служит мирное возвращение святых мест христианам. Спасение Европы, понимаемое как спасение христианства, — в этой идее заключена, по мысли Жуковского, миссия истинного монарха в конце 1840-х гг.

§ 3. В поисках веры: о предыстории создания статьи Жуковского «О смертной казни»

Когда же и может душа яснее понять Спасителя, как не в такие минуты, в которые все милое на земле для нас исчезает
[Жуковский 1869б: 962].

Одним из самых труднообъяснимых и провокативных текстов Жуковского является статья «О смертной казни»⁸⁹, представляющая собой отрывок

⁸⁹ Илья Виноцкий в книге «Дом толкователя. Поэтическая семантика и историческое воображение В. А. Жуковского» подробно проследивает генезис представлений, обусловивших религиозное видение поэтом казни. Обозначим этапы этой эволюции, двигаясь за мыслью исследователя в хронологическом по-

из письма к цесаревичу от 4 января 1850 г. Поводом для статьи послужило описание совершенной 13 ноября 1849 г. смертной казни над супругами Маннингами, осужденными за убийство молодого человека с целью грабежа. Газетная заметка о публичном исполнении приговора в Лондоне вызвала всеобщее возмущение (см.: [Виницкий: 268–271]), это событие дало толчок Жуковскому для окончательной кристаллизации его идей. Главная мысль поэта такова: смертная казнь — установленный самим Богом институт, поэтому необходимо не отменить, а преобразовать ее в *таинство*, во всеобщий «акт любви христианской». Явственно противоречащее христианскому учению, это рассуждение вызвало острую критику⁹⁰ (см.: [Там же: 264–267]). Но разве не понимал этого очевидного противоречия сам Жуковский, в это время составляющий из дневниковых записей и писем том своей «Духовной прозы»?

Во вступительной статье к книге прозы Жуковского, вышедшей в 1915 г. в серии «Историко-литературная библиотека», ее составитель П. Н. Сакулин верно охарактеризовал ход рассуждений автора проекта «О смертной казни»:

В этом царстве бесплотных идей мысль легко выводит самые категорические умозаключения **из предпосылок, в которые она непоколебимо верит** [Сакулин: XL].

рядке: 1) Баллады (1809–1831): тексты, в которых Жуковский впервые глубоко и по-разному разрабатывает тему наказания — спасения «преступника». 2) Проект 1847 г. Фридриха-Вильгельма IV и споры вокруг смертной казни в Германии. Это — непосредственный источник, откуда Жуковский воспринял идею казни как религиозного ритуала и откуда заимствовал элементы антуража. Виницкий утверждает, что «предложения русского поэта очень близки к королевскому проекту реформы: отмена публичной казни, звон колокола, толпа, ожидающая вести о казни у стен темницы. Можно сказать, что Жуковский взял идеи своего царственного друга за основу» [Виницкий: 277]. 3) Статья 1848 г. о «Фаусте» Гете — первый пример освящения поэтом эшафота, который есть «святое место, откуда душа грешника сразу переходит в лоно милосердного Бога» [Там же: 283]. 4) Казнь Маннингов в ноябре 1849 г. — повод создания проекта «О смертной казни». 5) Известие о «казни» петрашевцев — толчок, который заставил Жуковского обнародовать свои идеи наследнику престола.

Построения И. Виницкого имеют один, но важный пробел. Остаются не выясненными два обстоятельства: думал ли Жуковский на интересующую нас тему в период 1831–1847 гг., отразилась ли судьба декабристов и «адвокатская миссия» поэта на его правосознании. Исследователь не учитывает ни дневниковых записей Жуковского, ни всего корпуса его переписки с цесаревичем. Ниже мы попытаемся восполнить эти лакуны.

⁹⁰ Приведем слова И. С. Аксакова, характеризующие точку зрения противников смертной казни: «Для воспитанного на слове евангельском общества вполне ясно и несомненно, что убиение человека, совершаемое, хотя бы мечем государства, противно учению и разуму учения Христа» (цит. по: [Малиновский]).

Жуковский строил свои рассуждения о смертной казни на идеологическом фундаменте, который начал формироваться у него задолго до ноября 1849 г. Приведем в подтверждение этой мысли слова самого поэта из письма к А. П. Зонтаг:

...она <статья «О смертной казни». — Т. Г.> сама собою написалась в письме к великому князю [Уткинский сборник: 87].

Внутренняя легкость при написании статьи, отмеченная Жуковским, свидетельствует о том, что к моменту ее создания основные идеи о сущности наказания были им осмыслены, а внутренние противоречия разрешены. Именно поэтому цель нашего комментария к статье «О смертной казни» — выявить те исторические и психологические причины, под влиянием которых поэт сформировал особый взгляд на ритуал смертной казни и внутренне принял свою концепцию, т.е. не увидел в ней антихристианских идей.

Характерно, что казнь Маннингов в Лондоне и дискуссия вокруг нее не сразу вызвали у поэта желание поделиться своими впечатлениями с членами царской семьи. Интерес Жуковского к теме наказания осенью 1849 г. был обусловлен закончившимся 16 октября в России судебным процессом над петрашевцами. Поэт ждал объявления приговора. Исторический опыт (судьба декабристов) и юридическое сознание человека монархических убеждений подсказывали ему, что политическим преступникам будет вынесен именно смертный приговор⁹¹.

23 декабря 1849 г. газета «Северная Пчела» перепечатала из «Русского Инвалида» рескрипт об определении наказаний 21 члену кружка Буташевича-Петрашевского и сообщение о помиловании; 4 (16) января 1850 г. эта информация была опубликована в иностранной прессе. Жуковский в тот

⁹¹ В свое время Николай I, зная о возможном приговоре декабристам, совершил один промежуточный ход. 21 апреля 1826 г. монарх упразднил в Финляндии смертную казнь, подчеркнув: «...если преступление не будет толикой важности, что целью оно было нарушение общего существования, спокойствия государственного, безопасности Престола и Святости Величества» (цит. по: [Шелкопляс: 84]). Император, по сути, следовал за рассуждениями противников смертной казни, которые допускали ее применение, если преступник угрожал государственной безопасности. Беккари, автор труда «О преступлениях и наказаниях», указывал на необходимость смертного приговора, «когда жизнь гражданина и лишенная свободы, **может произвести революцию** и нанести вред безопасности» (цит. по: [Жильцов: 8]). Рассуждение итальянского ученого учитывала Екатерина II при написании своего «Наказа», на который судьи по делу 14 декабря 1825 г. также опирались при вынесении приговора. В записке об амнистии декабристов Жуковский писал: «Вы строго наказали преступление [Вы наказали преступление, и **должны были наказать его**]; виновнейшие, то есть злодеи по умыслу и действию не существуют» (цит. по: [Дубровин: 75]). Несмотря на сочувствие, многочисленные заступничества за осужденных, поэт принял казнь пяти декабристов как непреложный факт.

же день написал письмо наследнику престола (распорядителю казни над петрашевцами), в котором начертил свой проект о смертной казни. Поэт, безусловно, не знал деталей исполнения приговора в России⁹². Описание казни Маннингов давало яркий, но и нейтральный материал для освещения острой проблемы.

В архивной копии статьи «О смертной казни» мы находим один абзац, который Жуковский исключил из окончательного варианта:

[... в наше время, когда ничто, кроме страха и безверия смерти, не обуздывает бешенство разврата и безверия, так сильно восстают благотворители человечества против смертной казни и почему великое слово амнистия <подч. Жуковским. — Т. Г.> сделалось их общим филантропическим паролем и лозунгом] [Жуковский 1845–1850].

По нашему мнению, ключ к пониманию статьи «О смертной казни» находится в ответе на два вопроса: какое значение вкладывал Жуковский в понятие *амнистия* и почему он, ходатайствовавший перед царем за многих осужденных, критиковал противников смертной казни?

Рассмотрим историю заступничества поэта за декабристов, поскольку именно дело 14 декабря явилось первым шагом к осмыслению им проблемы наказания и амнистии.

Николай I в 1826 г. лично составил для генерал-губернатора Петербурга гр. П. В. Голенищева-Кутузова записку о казни декабристов. Жуковский, конечно, не мог читать данного документа, но слухи о нем (как и о самом событии) определенно циркулировали. К сожалению, дневник поэта за это время полностью отсутствует. Мы не знаем точно, разговаривал ли Жуковский со священником П. Мысловским, свидетелем казни. Однако можно полагать, что в 1837 г., во время путешествия по Сибири с наследником престола, поэт узнал детали исполнения приговора над пятью декабристами.

В письме к цесаревичу 1850 г. поэт передал атмосферу, которая должна была одухотворять последний день приговоренного к казни:

...внутри темницы и позже на месте казни все должно иметь характер примирительно христианский. <...> он оставлен на произвол собственного размышления, которое лучше всего приготовит его к присутствию Божию на последней исповеди. <...> при переходе от тюрьмы к церкви, где встретит его чаша примирения, произойдет в нем этот спасительный душевный перелом [Жуковский 1902: X, 142].

Жуковский не хотел верить, чтобы преступник в последний час не приблизился к Богу. Он уверен в том, что при правильной организации смертной казни «грешник, приступая к концу своему, с Ним примиренный, при<мет> смерть с покаянием на очищение души своей» [Там же]. По нашему пред-

⁹² «Казнь» над петрашевцами состояла из двух актов, рассчитанных на драматический эффект: явление строгого правосудия (саваны были заранее приготовлены), затем — неожиданная монаршая милость.

положению, убежденность поэта в своей правоте основана, в том числе, на знании обстоятельств казни декабристов⁹³.

Булгарин писал в агентурной записке: «...толкуют и перетолковывают известие, помещенное в запоздалом календаре, о происшествии 13 июня 1826. Там сказано, что преступники казнены со всевозможным милосердием» [Видок: 126]. Жуковский, разумеется, знал мнения тех лиц, которые осудили факт казни дворян и способ ее исполнения. Напомним слова Вяземского, суждение которого могло быть известно Жуковскому:

Смерть, таинство. Никто из смертных не разгадал ее. Как же располагать тем, чего мы не знаем? Может быть, смерть есть величайшее благо, а мы в святотатственной слепоте ругаемся сею святыней! [Вяземский 2003: 575–576]

В статье «О смертной казни» поэт показал, при каких условиях казнь может стать благом для казнимого и быть исполнена «с милосердием». Для Жуковского должны были представлять особую ценность «позитивные» свидетельства о событии 13 июня 1826 г. С этой точки зрения, рассмотрим фрагмент из «Записок» Якушкина:

Когда их привели к виселице, Сергей Муравьев просил позволения помолиться; он стал на колени и произнес: «Боже, спаси Россию и царя!» Для многих такая молитва казалась непонятною, но Сергей Муравьев был с глубокими христианскими убеждениями и молил за царя, как молил Иисус на кресте за врагов своих. Потом священник подошел к каждому из них с крестом. Пестель сказал ему: «Я хоть не православный, но прошу благословить меня в дальний путь» [Якушкин: 452].

Поведение декабристов на эшафоте отличают смирение и религиозное чувство — эти черты впоследствии стали лейтмотивами в рассуждениях поэта о спасительном влиянии наказания на душу преступника. В записке об амнистии декабристов Жуковский подчеркнул:

Теперь несчастье дало им новое воспитание; оно познакомило их с своим необходимым товарищем — религиею. <...> они ясно увидели, к чему могут привести мысли превратные; несчастье научило их смирению, изгнание врезало в них живейшую любовь к отечеству; а кротость, с какою в самой строгости своей поступило с ними правосудие, конечно, вселила в них благодарность к государю, их покаравшему. Одним словом, всемилостивейший государь, время карающей строгости миновалось, время благодати спасающей, примирительной наступило (цит. по: [Дубровин: 101–102]).

⁹³ Н. Я. Эйдельман в книге «Апостол Сергей» наиболее подробно и точно реконструировал атмосферу и события, окружавшие казнь декабристов [Эйдельман 2005].

Покаяние и принятие наказания⁹⁴ — это путь, согласно Жуковскому, способный привести разбойника к Богу (к библейскому сюжету о казни Иисуса он позднее специально обратился в своем дневнике). Провозгласить амнистию возможно лишь тогда, когда осужденный приобщился к «новому воспитанию», т.е. к религии. Именно поэтому, как представляется, в 1850 г. поэт выступил против сторонников амнистии. Отмена наказания (в данном случае, смертной казни) лишала преступника возможности обрести веру. Окончательному укоренению такой точки зрения на наказание и амнистию способствовала, на наш взгляд, встреча поэта с декабристами во время путешествия с цесаревичем по России в 1837 г.

Наследник престола Александр Николаевич отправил из Сибири письмо императору с просьбой об облегчении участи осужденных по делу 14 декабря. Ходатайство цесаревича имело успех; после получения долгожданной новости Жуковский написал письмо к императрице, в котором особо просил о некоторых декабристах:

Якушкин <...> особенно достоин замечания по своему характеру. Его прежнее **неверие обратилось в глубокую веру**; он сносит с удивительной твердостью свое заслуженное бедствие; он один из тех немногих людей, коим **несчастье обращается в спасительный урок**, и кои **возвышаются нравственно признанием вины своей и покорностью провидению**: такие люди достойны того, чтобы милосердие подало им руку и подняло их из той пропасти, в которую впади они в минуту заблуждения, ослепившего ум, но не развратившего сердце. <...> Особенно поразила меня во всех их <Бриггене, Назимове, Лорере. — Т. Г.> их смиренная покорность судьбе своей и той кротости, какая была им оказана во все эпохи их изгнания [Жуковский 1885: VI, 306].

Появление идеи о благодати наказания — это итог размышлений поэта над судьбой декабристов. Тема обретения веры преступником, принятия им своей участи стала лейтмотивом в его ходатайствах за осужденных. Спустя девять лет, 3/16 мая 1846 г. Жуковский обозначил ключевую тему статьи «О смертной казни» — освященное религией наказание преобразует душу преступника. В письме к наследнику престола он снова обратился к истории Якушкина:

Якушкин был **совершенно неверующий**, когда был взят; но **в тюрьме сделался он иным человеком**, и это великое действие несчастья не только не прекратилось, но и произвело совершенно **преобразование души**. Прочитав многие из писем его, я с благоговением почувствовал все **величие испытания, когда оно принимается христианством** [Там же: VI, 516].

Осмысление судьбы Якушкина и других декабристов подвели Жуковского к мысли о том, что если земная участь преступника не может или не долж-

⁹⁴ Вяземский в 1826 г. в письме к поэту и А. И. Тургеневу спрашивал, знают ли они о письме Рылеева к жене, в котором декабрист выражал раскаяние (см.: [АТ: VI, 43]). Нет оснований полагать, что Жуковский не знал этого документа.

на быть изменена, то христианское утешение он может и обязан обрести. Тема благодати Творца по отношению к преступнику отразилась в отрывке из дневника Жуковского о таинстве евхаристии, писавшемся предположительно во второй половине 1845 г. или в первой половине 1846 г. Он писал о страданиях Христа на Голгофе следующее:

Но кто же с Ним войдет в эту дверь? <...> С одной стороны <...> неограниченная благодать, сказавшаяся на кресте разбойнику <...>. Если войдет такое покаяние в душу <...>, то она в это мгновение действительно преобразается и все ее временное греховное прошедшее исчезает <...> святое **таинство налагает на нее <душу> очистительную печать свою** [Жуковский: XIV, 318].

В статье «О смертной казни» своеобразно преломились размышления Жуковского о причастии. В структуре двух текстов лежит общая схема, состоящая из таких элементов: разбойник — казнь — благодать — таинство — очищение. Под влиянием рассуждений поэта, его поисков веры юридический вопрос о смертной казни приобретал в 1840-е гг. отчетливый религиозный характер.

При написании статьи «О смертной казни» Жуковский, для которого идея об обретении приговоренным спасающей душу веры была главной, должен был разрешить внутреннюю проблему, мучившую его на протяжении последнего десятилетия жизни:

Но как дать себе эту веру? Как дойти до того, чтобы она была все, во всем и всегда? Если сердце сухо, как русло ручья иссякшего, если оно холодно, как железо, и нечувствительно, как камень, — **кто** оживит его для веры? Наша воля не имеет этого всемогущества. <...> О, **кто** даст мне это слово со всем его таинственным всемогуществом, освящающим и просвещающим и радость и страдание? [Там же: XIV, 303]

При создании статьи перед поэтом вставал вопрос о способах, с помощью которых преступник, приговоренный к казни и не имеющий времени на духовные поиски, смог бы за короткий срок приобщиться к вере. В контексте собственных религиозных исканий народ (его отношение к преступнику) приобретает исключительную важность в рассуждении поэта о смертной казни. В дневниковой записи Жуковского обращает на себя внимание поиск духовного наставника, который помог бы ему двигаться по пути обретения Бога.

В своей статье Жуковский осудил публичную казнь, превратившуюся в привлекательную потеху, «которая для зрителей получает занимательность трагедии, а для казнимого уничтожает спасительное действие на душу последней его минуты» [Жуковский 1902: X, 140]. Критикуя существующий способ исполнения смертного приговора, поэт предложил альтернативный проект казни. Она, с одной стороны, является недоступной глазам народа, который должен молиться за душу преступника, а с другой, она сопровождается молитвенным песнопением, которое «не прежде умолкнет, как в минуту его смерти» [Там же: X, 142]. Характер смертной

казни, по замыслу поэта, должен был приблизить душу преступника к Богу, а также послужить «нравственной проповедью для народа».

Тема молитвы во время казни не была оригинальной⁹⁵. Однако на осмысление Жуковским важности молитвы за казнимого, как мы считаем, оказало влияние поведение священника Мысловского 13 и 14 июля 1826 г. В своих «Записках» Якушкин писал:

⁹⁵ Проследить генезис этого представления у Жуковского трудно. Одним из возможных его источников могла стать история смертной казни в России. Приведем один пример. Еще в начале XVIII в. существовал такой способ квалифицированной казни, применяемый к убившим своих мужей женам, как окопание. Женщину зарывали в яму, ночью ее охраняли солдаты, а днем около преступницы находился священник, «который с зажженной восковой свечей читал молитвы». По свидетельству Де-Бруин, «<...> дозволялось бросать в яму <...> несколько копеек <...>. Деньги эти употреблялись обыкновенно на покупку восковых свечей перед образами тех святых, к которым взывает осужденная, частью же на покупку гроба» (цит. по: [Сергеевский: 25]). Таким образом, эта казнь совершалась фактически под молитву, а ее зрители оказывали духовную помощь преступнице. Прообраз идеи о смертной казни как *таинстве* мог появиться у Жуковского во время изучения русской истории (особенно во второй половине 1820-х гг., после суда над декабристами, когда вопрос о наказании стал центральным в размышлениях поэта).

Еще более близкий источник образа молитвы во время казни — это поэма Пушкина «Полтава»:

Телега стала. Раздалось
Моление ликов громогласных.
С **кадил куренье** поднялось;
За упокой души несчастных
Безмолвно **молится народ**

[Пушкин: IV, 285].

Сочинение Пушкина могло также послужить источником и для другой идеи Жуковского: запрета публичной казни. В «Полтаве» поэт выразительно нарисовал, говоря словами Жуковского о казни Маннингов, «отвратительные сцены разврата и скотства в бесчисленной толпе всякого народа» [О смертной казни: 140]. Пушкин писал:

Толпы кипят. Сердца трепещут.
<...>
В гремящий говор все слилось:
Крик женский, брань, и смех, и ропот

[Пушкин: IV, 284–285].

Пушкин, как позднее и Жуковский, отчетливо увидел отсутствие какого-либо влияния казни на душу, сознание ее зрителя. Приведем строки из «Полтавы»:

Свершилась казнь. Народ беспечный
Идет, рассыпавшись домой
И про свои работы вечны
Уже толкует меж собой

[Там же: IV, 286].

...их <тела пяти декабристов. — Т. Г. > сняли и отнесли в какой-то погреб, куда едва пропустили Мысловского; **он непременно хотел прочесть над ними молитвы.** <...> Бибикова <на следующий день. — Т. Г.> зашла помолиться в Казанский собор и удивилась, увидав Мысловского в черном облачении и услышав имена Сергея, Павла, Михаила, Кондратия [Якушкин: 453].

Дополним рассказ Якушкина свидетельством другого декабриста:

...вечером ко мне вошел в каземат наш священник Петр Николаевич <...> рассказывал, что, когда под несчастными отняли скамейки, он упал ниц, прокричав им: «Прощаю и разрешаю!» (цит. по: [Нечкина: 187]).

Казнь осужденных по делу 14 декабря, с точки зрения некоторых современников, была пронизана религиозным чувством. С одной стороны, смирение казнимых, их исповедь, а с другой, благословление и прощение преступников, молитва за их души и панихида — все это, вопреки ужасу осуществившегося приговора, потенциально могло дать толчок к формированию у Жуковского представления о казни как об акте, способном вызвать религиозное просветление и у преступника, и у свидетеля. (Обратим внимание на крайне эмоциональное поведение Мысловского, на факт совершения им панихиды по повешенным декабристам, которая вносила диссонанс в день организованного на Сенатской площади молебна и поминовения графа Милорадовича).

В свете вышесказанного общая молитва народа накануне дня смертной казни и во время ее, согласно Жуковскому, являлась средством оказания духовной помощи осужденному перед встречей с Богом. Показательно, что поэт обратил внимание на слова Гоголя из предисловия-завещания «Выбранных мест» и процитировал их в своей статье «О молитве»: «Ты просишь, чтобы за тебя, идущего в путь далекий, в отечестве молились» [Жуковский 1902: XI, 76]. Надежда на обретение веры заключалась, по мнению поэта, именно в молитве, особенно за кого-то другого. Обратимся к отрывку из дневника Жуковского 1840-х гг.:

...благотворящий ближнему стократно благотворит самому себе. Не всякий способен иметь такую любовь: она есть благодать свыше. Но всякий способен признавать истину заповеди Божией и смиренно ей покоряться, **даже без чувства любви**, даже вопреки бесчувствию, бременящему сердце: болезнь, от которой может исцелить только Бог. Всякой случай благотворить есть голос Божий; не затворяй пред ним ушей своих и **покорно исполняй то, что исполнить можешь, какое бы при том ни было твое чувство** [Жуковский: XIV, 304].

В статье «О смертной казни» благотворением к ближнему оказывается молитва за казнимого, которая приближает преступника и сам народ к Богу⁹⁶.

⁹⁶ Тема молитвы тесно связана с поиском Жуковского пути к утраченному Эдему. История создания статьи «О смертной казни» представляет собой, в определенном смысле, развитие сюжета стихотворения «Пери» 1831 г. Пери ищет

«Величественным актом», по убеждению поэта, будет совершение «религиозной» смертной казни, потому что она возбуждает «все высокие чувства души человеческой: веру, благоговение перед правдой, сострадание, любовь христианскую» [Жуковский 1902: X, 141]. Молящийся народ испытает чувство религиозного просветления. Мы согласны с И. Веницким, который писал: «Очевидно, видение, открывающееся перед зрителями, есть не что иное, как коллективное зрелище Суда Божия» [Веницкий: 286].

В своей работе исследователь подробно остановился на той роли, которую играет образ Страшного суда в творчестве поэта. Однако Веницкий, к сожалению, не обратил внимания на дневниковую запись Жуковского, которая, по-видимому, является прямым, ближайшим и наиболее актуальным источником этого образа в статье «О смертной казни». В одном отрывке 1840-х гг. поэт рассуждал о картине «Страшного суда», которую ему описал в письме прусский король:

Вот картина великого поэта. <...> Как выразить в одно время и небо и рай, и ад, и землю. Король решил это. Он ограничился одним небом, **оставив остальное воображению**⁹⁷. <...> она говорит молящимся: пред вами все, что было, и все, что будет. Падение, искупление и последний час временного, по-

на земле то, что откроет двери рая. Сначала он «Каплю крови, за свободу / Пролианные, берет» и приносит их ангелу, который, однако, «дверей не отворил». Затем он видит картину:

На колени стал младенец,
Руки набожно сложил,
И с молитвою невинной
Взор поднял на небеса.

Сердце мертвое злодея
Потряслось при виде сем,
И росой умиления
Оживилось оно.

Близ невинного младенца
Он с молитвой пал во прах —
И раскаяния слезы
Полилися из очей

[Жуковский: II, 277–278].

В поэтическом тексте 1831 г. намечены главный сюжет и темы поздней статьи: чистая молитва другого спасает душу преступника, именно его приобщение к Богу, его слезы раскаяния открыли Пери двери Эдема (ср. тот же мотив в повести «Капитан Бопп»). Подчеркнем еще раз: литература в большей или меньшей степени кодировала ход исторических или религиозных размышлений Жуковского.

⁹⁷ Ср. из статьи Жуковского: «И какое зрелище! Никакими глазами не увидишь того, что в одну такую минуту может показать душе воображение. А когда пение вдруг замолчит — что представит себе это растроганное воображение?» [Жуковский 1902: X, 142].

сле которого наступит час вечности. Но когда он наступит, нам неизвестно. Молитесь! **Ваша жизнь должна быть молитва** [Жуковский: XIV, 305–306].

Укажем еще раз на ту безусловную важность, которую имеет для Жуковского молитва не только в жизни отдельной личности, но и государства в целом. Заметим, что картина «Страшного суда», по замыслу Фридриха Вильгельма IV, должна была стать единственной в строящемся кафедральном соборе в Берлине. По нашему предположению, возникновение в статье «О смертной казни» мотивов всеобщей молитвы и религиозного песнопения было не случайным, а отражало закономерный, доведенный до логического предела итог духовных исканий самого Жуковского. Именно напряженный поиск веры привел поэта к идее сакрализации смертной казни⁹⁸.

Как уже отмечалось, одним из главных тезисов статьи является запрет публичной казни: для Жуковского важно организовать ее исполнение так, чтобы не было «кровавого зрелища для глаз». Интересно отметить, что

⁹⁸ По мнению Виноградского, Жуковский мог почерпнуть правовое обоснование своей мысли об освященном и спасающем душу наказании из сочинений немецких юристов Райделя, Мессершмидта, Дистела. Исследователь также полагает, что подготовленный в 1847 г. проект Фридриха-Вильгельма IV о казни является источником, из которого поэт заимствовал религиозные элементы [Виноградский: 275–277]. Если эти сочинения были ему известны, то они служили не источником, а дополнительным аргументом, убедившим Жуковского, что его размышления о смертной казни вписывались в русло развития юридической мысли и не являлись политическим и религиозным умопомрачением. Возможное знакомство с трудами немецких авторов могло придать Жуковскому психологической уверенности при написании статьи «О смертной казни». К тому же возможное знание Жуковским реакции членов царской семьи на казнь декабристов в 1826 г. могло также укрепить его желание отправить цесаревичу письмо-статью «О смертной казни». 12 июля 1826 г. Александра Федоровна записала в дневнике: «Сегодня канун ужасной казни. <...> Я молюсь за спасение душ тех, кто будет повешен» (цит. по: [Междущарствие: 92–93]). Смертная казнь как благо, которое просветляет преступника, — эта тема является содержанием письма Николая I к Марии Федоровне: «<...> столь закоснелые существа и не заслуживали иной участи: почти никто из них <не приговоренных к смерти. — Т. Г.> не высказал раскаяния. Пятеро казненных смертью проявили значительно большее раскаяния, особенно Каховской <убивший графа Милорадовича. — Т. Г.>. Последний перед смертью говорил, что молится за меня! Единственно его я жалею; да простит его Господь и да успокоит его душу!» (цит. по: [Междущарствие: 209]). Главные идеи будущей статьи поэта как бы скрыто присутствуют в этом письме: смертная казнь — благо, так как приводит преступника к раскаянию и молитве, т.е. к пониманию им важности спасения своей души. Письмо Николая, как и запись императрицы не являются, конечно, источниками идей Жуковского (тем более, что этих текстов поэт, вероятно, не знал). Однако подавались, скорее всего, «сигналы», которые позволяли Жуковскому рассчитывать на адекватное понимание статьи «О смертной казни» членами царской семьи.

мотив бескровной казни мы обнаружим в записке от 10 июля 1826 г. начальника штаба Дибича к председателю Верховного уголовного суда князю Лопухину:

На случай сомнения о виде казни, какая сим преступникам определена быть может, государь император повелеть соизволил предварить вашу светлость, что его величество никак не соизволяет не токмо на четвертование, яко казнь мучительную, но и на расстреляние, как казнь одним воинским преступлениям свойственную, ни даже на простое отсечение головы и, словом, ни на какую смертную казнь, с пролитием крови сопряженную (цит. по: [Сыроечковский: 176]).

Выбор императором казни для декабристов диктовался поиском той ее формы, которая могла быть «принята» обществом. Такое монаршее стремление имело обоснование в юридической мысли. Еще первый русский профессор права С. Е. Десницкий отмечал в «Слове о причинах казней по делам криминальным» 1770 г.:

Сие наипаче правительствующим должно наблюдать, чтоб учиненные казни не выходили за пределы человечества; в противном случае непристрастные и посторонние зрители не будут благоволить и, пришедши в сожаление об виновном, негодовать станут на самих судей, чрез что чинимые казни теряют успех (цит. по: [Коркунова: 27]).

Однако казнь пяти декабристов оказала шокирующее воздействие, в том числе и на ее исполнителей. Известно, что Бенкендорф, например, до последнего затягивал исполнение приговора, надеясь на получение известия о царской милости. В момент казни он, чтобы ее не видеть, приклонился к седлу своей лошади.

По сути, Жуковский в своей статье 1850 г. также искал тот образ казни, который бы «не выходил за пределы человечества». В записке императора о казни декабристов и в статье поэта есть общий мотив — музыкальное сопровождение исполнения приговора. Казнь, по замыслу государя, должна быть осуществлена под барабанный бой: «<...> как для гонения через строй докуда все не кончится <...>» (цит. по: [Серебровская: 278]). Поэт, вступив как бы в заочный спор⁹⁹, заменил барабанную дробь молитвенным

⁹⁹ Интересно в данном контексте вернуться к работе Жуковского над сочинением «Черты истории государства Российского», основой для которого послужили его конспекты карамзинского труда. Последним государем из древней русской истории, которого поэт ставил для царственного ученика в высокий образец княжеских добродетелей, был сын Мономаха Мстислав. В своем пособии Жуковский практически без изменений следует за рассказом Карамзина, однако одно рассуждение историографа поэт исключил полностью: «Мстислав забыл наставление отца <...>. Щадить кровь людей есть без сомнения добродетель; но монарх, преступая обет, нарушает закон естественный и народный; а **миролюбие, которое спасает виновного от казни, бывает вреднее самой жестокости**» [Карамзин: I, 268–271].

песнопением, которое приближало преступника к Богу и спасало его душу от окончательного осквернения¹⁰⁰. Представляется закономерным, что Жуковский описал исполнение смертного приговора как религиозный акт, и именно поэтому ввел в свой текст сакральные образы.

История формирования замысла «О смертной казни», в первую очередь, отражает поиск поэтом веры. Глубокое и многолетнее осмысление судьбы декабристов исподволь создавало предпосылки для построения проекта «О смертной казни». Посещение осужденных по делу 14 декабря в Сибири в 1837 г. привело Жуковского к мысли о благотворном влиянии наказания, которое воспитало в осужденных христианские чувства смирения, покорности, кротости, приобщило преступников к вере. Не случайно, что статья «О смертной казни» посвящена теме «сохранения для вечности души несчастного» и поиску ответа на вопрос: «Но как это сделать?» [Жуковский 1902: X, 141]. Личные духовные искания Жуковского проникнуты мучительным поиском тех средств, которые откроют путь к Богу. По верному замечанию А. Немзера, именно стремление «найти в “земном” “небесное”» обусловило «идеализацию смертной казни» [Немзер 2001: 11].

Поэт постоянно рассуждал о значении молитвы и причастия, о Страшном суде и о роли религии в современном обществе. Он переработал неко-

Исключение этого пассажа говорит как раз об отрицательном отношении поэта к казни. Жуковский в своей педагогической практике был нацелен на воспитание милостивого монарха, хотя подчеркивал карамзинский завет: великодушные правителя может стать шагом на пути к упадку могущества государства (не поэтому ли в эпоху революций поэт выступил за смертную казнь?). Однако после посещения декабристов в Сибири в 1837 г. Жуковский вступил в заочную полемику с Карамзиным. Поэт, обращаясь к государю с просьбой о помиловании, писал: «Заговор <...> задушен был в самую первую минуту героизмом царя <...> Россия <...> **не назовет слабостию вашей благодати**» (цит. по: [Дубровин: 101–103]). Ср. со словами историографа, анализировавшего события XII в.: «Черниговцы не обманулись: великий князь, тронутый молением Всеволода, явил **редкий пример великодушия или слабости**» [Карамзин: I, 278].

Возникший как отклик на дело 14 декабря, вопрос, в какой мере должно сочетаться в монархе стремления покарать преступника/врага и оказать ему благодать (в любой форме), постоянно занимал Жуковского. В этой связи также неслучайным представляется факт адресации поэтом своего рассуждения «О смертной казни» именно великому князю Александру Николаевичу, будущему императору и постоянному свидетелю прошений Жуковского за декабристов.

¹⁰⁰ Повешение считалось крайне позорным наказанием. В своей статье Сергеевский привел мнение иностранца, посетившего Россию в XVIII в.: «<...> русские долгое время затруднялись принять повешение, как способ казни, думая, что душа повешенного, будучи принуждена выходить из тела через нижний проход, тем оскверняется» (цит. по: [Сергеевский: 21]).

торые письма и отрывки из своего дневника в статьи и решил объединить их в том «Духовной прозы». Спасение души на освященном эшафоте стало темой его статьи 1848 г. «Две сцены из Фауста»¹⁰¹. Знакомство с описанием казни Маннингов в ноябре 1849 г. придало напряженность, остроту актуальной для поэта теме «преступник и наказание». После объявления приговора петрашевцам Жуковский написал великому князю письмо, отрывок из которого он включил в готовившийся том духовной прозы. В своем проекте Жуковский разгадывал смерть как таинство, пытался прозреть от «святотатственной слепоты» по отношению к казни. Статья «О смертной казни» явилась закономерным итогом размышлений и духовных исканий Жуковского.

¹⁰¹ Подробнее об этой статье см.: [Айзикова: 353–356].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

*официальный Жуковский
не постыдит Жуковского-поэта*
[Вяземский 1876: 92].

Как мы стремились показать, в публицистике Жуковского преломились черты эпохи политического и духовного кризиса монархических идеалов. Жуковский был подданным четырех монархов, каждый из которых стремился воплотить в жизнь свой государственный идеал, но ни один не смог этого сделать. Поэт был очевидцем антинаполеоновских войн и бунта 14 декабря 1825 г., современником европейских революций и варшавского восстания. В 1825 г. поэт стал активным участником большого исторического проекта — воспитания будущего русского монарха.

Причины народного недовольства, революции, пути разрешения конфликтных ситуаций были постоянными темами размышлений Жуковского. Пристальное внимание к проблемам «общения» между монархом и подданными не ослабевало у него на протяжении многих лет: от программного послания «Императору Александру» (1814) до запрещенной русской цензурой статьи «Русская и английская политика» (1850). В 1840-е гг. Жуковский задумал статью «Взгляд на теперешнее состояние» [Записная тетрадь]. Он намеривался проанализировать взаимоотношения между государем и народом в исторической перспективе, выявить причины конфликтов между ними и те факторы, которые препятствуют их успешному сотрудничеству в деле государственного строительства. Жуковский был убежденным сторонником монархии, но к действиям и поступкам монархов часто относился критически.

В нашей работе мы постарались показать те модели и коды осмысления исторических событий, которыми пользовался поэт в своих сочинениях и на которые ориентировался в своем поведении, в особенности при дворе, в общении с царственными особами. По нашему мнению, именно литературные сочинения программировали общественно-политическую оптику Жуковского, его оценку действительных событий, определяли язык и круг тех понятий, которыми он оперировал.

В придворной жизни Жуковский выстроил две модели поведения по отношению к членам императорской семьи, которые можно назвать, «внутренняя» («карамзинская») и «внешняя» (публичная).

За Жуковским в конце 1810-х – начале 1820-х гг. закрепилась репутация придворного поэта, склонного к идеализации и к поиску *прекрасного*, но отличающегося самостоятельной позицией, в том числе, по отношению к императору. Напомним известные слова Вяземского, писавшего к А. Тургеневу 7 августа 1819 г.: «...он себя, то есть поэзию, переносит во все недоступные места. Для него дворец преобразовывается в какую-то святыню, все скверное очищается перед ним; он говорит помазанным слушателям:

“Хорошо, я буду говорить вам, но по-своему”, и эти помазанные его слушают» [Воспоминания: 216]. По сути, слова Вяземского точно характеризуют и стратегию позднего Жуковского-идеолога: преобразовать своим словом (письмами, сочинениями, проектами) придворный мир в идеальную модель общественного устройства. Не случайно, что поэт стремился приобщить широкую читательскую аудиторию к своим текстам, написанным «для немногих» (см., например, состав тома «Духовной прозы»).

В 1818 г. в балладе «Граф Гапсбургский» поэт, обращаясь к правителю, изобразил мечту «о гармонии между поэзией и государственной властью. <...> Могущество и великодушие властителя, чтящего небесную волю и преклоняющегося перед свободной песней, уравнивается величием певца, возглашающего нелицемерную хвалу императору» [Немзер: 221]¹⁰². Жуковский развил здесь идею своего послания «Императору Александру»: государь должен заслужить уважение, похвалу певца своими человеческими качествами и поступками. Поэт — это историк и судья деяний монарха.

Такая позиция с особенной ясностью проявилась в николаевское царствование, когда Жуковский занял должность наставника наследника престола. Отношения между поэтом и императорской семьей протекали в двух сферах — служебной и личной, что предопределило формирование неоднозначной, но устойчивой репутации Жуковского при дворе.

Как мы стремились подчеркнуть, между Жуковским и Николаем I существовали определенные точки идеологического сближения. Вместе с тем они по-разному понимали роль поэта-наставника при дворе. Жуковский претендовал на роль *архитектора* николаевского царствования, Николай I, однако, отводил «своему» поэту роль *певца* официальной идеологии. Несовпадения в коммуникативных ожиданиях содержали в себе зерна будущих конфликтных ситуаций и таили опасность разрушить существовавшее с 1817 г. взаимопонимание между Жуковским и императорской четой.

Положение поэта при дворе было тем более сложным. С одной стороны, он слыл «добряком», симпатичным многим, но все же он «выпадал» из придворной сферы и своим происхождением, и предпочтением литературного дела придворной карьере, поэтому порой ему не стеснялись выказывать пренебрежение¹⁰³. С другой стороны, наставник наследника пре-

¹⁰² Знаменательны пометы поэта при чтении «Слова похвального ее Величеству Государыне Елисавете Петровне...» М. В. Ломоносова, недостатки которого, по Жуковскому, следующие: «картина испорчена лестью выражений», «пышная похвала не трогает», «какая пошлая хвала». А. С. Янушкевич замечает, что поэт «почти формулирует принцип своего разговора с царем <...>, выражающегося не в заискивании и восхищении, а в требовании дел хороших, в своеобразном поучении царя» [Янушкевич 1978б: 64–65].

¹⁰³ А. М. Тургенев писал Жуковскому в 1837 г.: «Ты всем известен добротой души и сердца твоего. <...> Но знай, что ты имеешь много людей недоброжелательствующих тебе. Всем тем, которых называют у нас родовыми, ты не уго-

стола играл, по выражению А. М. Тургенева, «роль Адашева», ходившего «по ножевому острию».

Жуковский, однако, всегда оставался *верноподданным оппозиционером*. Поэт критиковал поступки государя, конфликтовал с ним, но одновременно принимал активное участие в строительстве официальной идеологии, хотя в большинстве случаев его проекты не находили применения в политической практике николаевской эпохи. Вместе с тем, Жуковский постоянно возвращался к осмыслению событий междуцарствия и восшествия на престол Николая I. В своих текстах 1825–1850 гг. поэт стремился доказать легитимность николаевской власти, создать императору репутацию идеального монарха в глазах широкой читательской аудитории (как российской, так и европейской). С этой точки зрения, Жуковский, безусловно, был востребованным идеологом николаевского царствования.

Несмотря на то, что «его положение в придворной стихии было самое трудное», — как Смирнова-Россет писала, она же настаивала: «Только в отношениях к царской фамилии ему было всегда хорошо» [Смирнова-Россет 1989: 18]. Личные контакты в повседневной жизни между поэтом и императором/императрицей способствовали умиротворению двух остро полемизировавших сторон. Принципиальные, внутренние противоречия оставались, но внешнее напряжение спадало.

Наиболее острая ситуация в общении между Жуковским и Николаем возникла в начале 1830 г. во многом по причине того, что «служебный» конфликт в этот момент перерос в личную неприязнь. Идейное противостояние разрешилось также в личной сфере и во многом благодаря стараниям императрицы. Как знак — Жуковский был приглашен на семейный бал-маскарад (см.: [Лямина, Самовер]).

Личные контакты во многом питали иллюзии и надежды Жуковского на императора. Характерен его отзыв: «У государя первое чувство всегда прекрасно, потом его стараются со всех сторон испортить; однако, погорячившись, он принимает правду» [Смирнова-Россет 1989: 20]. Жуковский имел возможность наблюдать Николая Павловича с лучшей стороны и считал, что обязан оповестить о его прекрасных качествах широкую аудиторию. Это вписывалось в его концепцию монарха-человека, поэтому Жуковский стремился к тому, чтобы о прекрасных качествах царя узнали подданные. Образ императора конструировался поэтом из двух ипостасей: реальной и желаемой (т.е. из тех идеальных черт характера, которые, как искренне считал Жуковский, были Николаю присущи). Закономерно, что поэт, формируя свое представление о монархе, фиксировал каждые «минутные» проявления императором духовного величия. Можно сказать, что

ден потому, что у тебя нет трехсаженной поколенной ермолафии» (цит. по: [Грот: 7]). См. также записки Н. М. Коншина: «Толстый, плешивый здоровяк, сказочник двора, он не имел уже в глазах моих никакого достоинства. Его звали добряком; он ходил с звездами и лентами» [Воспоминания: 186].

в процессе осмысления николаевского царствования Жуковский уточнил свой идеал монарха, однако он размышлял не столько как историк, сколько как поэт.

В программной статье 1840-х гг. «О поэте и современном его значении» Жуковский развил мысли 1820-х гг.: «...прекрасное существует, но его нет <...> оно посещает нас в лучшие минуты жизни <...> оно только мимопролетающий благовеститель лучшего; оно есть восхитительная тоска по отчизне, темная память об утраченном, искомом и со временем достижимом Эдеме» [О поэте: 330–331]. Вопрос о достижении небесно-земной гармонии был определяющим как для мировоззрения, так и для поэтики поведения поэта. Поэтому и в общественно-политической сфере Жуковский был нацелен на поиск и создание *прекрасного*, что предопределило характер его идеологического творчества. Благодаря этому две роли: избранная поэтом роль архитектора николаевского царствования (не признанная императором) и роль певца государственного мифа (которая была желательна для Николая) смогли совместиться в деятельности Жуковского, составили две грани единого облика поэта-историка, цель которого — «пересоздание своими средствами создания Божия» [Там же: 331]. Противоречия между действительным и идеальным мирами приводили к внутренним кризисам, выход из мировоззренческого конфликта Жуковский видел в обретении веры и постижении божественного замысла. Поэзия определила не только придворную, но и политическую биографию поэта — путь к созданию утопии, в частности, Иерусалимского проекта.

После выхода в Пруссии статьи «Русская и английская политика» вопрос о Жуковском-политике стал актуальным для самого поэта и для его современников. Жуковский уверял своих корреспондентов (Северина, Мальтица) в случайности своего появления на политической сцене¹⁰⁴. Для нас важно указать на закономерность, с точки зрения внутренней биографии Жуковского, создания этой статьи. В процессе осмысления «истории» (как он это понимал) поэт вырисовывал контуры идеального монарха, выявив русский гармоничный мир из революционной Европы. Не случайно, согласно замыслу Жуковского¹⁰⁵, статьей «Русская и английская политика» должен был бы открыться том «Духовной прозы», подготавливавшийся им весной 1850 г.

¹⁰⁴ Этот сюжет требует отдельного анализа в рамках более широкого исследования репутации России в Европе в конце николаевского царствования.

¹⁰⁵ Статьи и дневниковые отрывки, предназначенные для тома «Духовной прозы», в дальнейшем печатались неоднократно, но без соблюдения того порядка, который наметил сам Жуковский в письме к Плетневу. Традиционно тексты делили на две группы: на религиозно-философские и политические статьи. Такой подход к публикации был обусловлен тем, что сам поэт прислал на цензуру тексты, помещенные в разные, тематические тетради. Вопрос о принципах современной публикации и изучения в целом тома «Духовной прозы» как цельного историко-религиозного проекта остается открытым.

В Российском историческом архиве хранится папка, содержащая цензурные замечания К. С. Сербиновича на избранные статьи из «Духовной прозы» Жуковского¹⁰⁶. Выделим важный для нашей темы аспект в рецепции цензурировавшегося тома. Несмотря на благожелательное отношение к сочинениям Жуковского, Сербинович перечеркнул выделенные первым цензором отрывки из статьи «История и историческая живопись» и отправил ее в Духовную цензуру. Такая реакция друга объясняется содержащимся в статье рассказом о картине Страшного Суда, но не только. Мысль Жуковского об историке, постигающем замысел Провидения и изображающем его в тексте «эмблемами невидимаго божественнаго мира» [Сербинович], сильно смущала цензора.

Характерно, что на фразу Жуковского «Слово есть откровение» из статьи «Философический язык» Сербинович заметил: «Разумеется: откровение мысли» [Сербинович]. В 1854 г. епископ Макарий писал Сербиновичу по поводу одной из статей поэта (скорее всего, той же самой — «Философический язык»): «Особенно я хотел смягчить мысль, будто ум наш без Откровения нисколько не может познать Бога, даже его бытия» [Макарий]. Современники не принимали поэтическую концепцию Жуковского, он воспринимался ими либо как мечтатель, либо как мистик.

Сам поэт считал, что действительность постигается в трехмерном изображении. Глубина — это изучение внутреннего смысла события, определение его значения для истории человеческого опыта; ширина — исследование причинно-следственных связей в канве настоящих событий, разгадывание исторических законов; высота — открытие в событии неявного и «неумотворного понятия о Боге», того предназначенного божественным провидением исторического пути к гармонии и вере. История, таким образом, разворачивается как на горизонтальной (человеческой), так и на вертикальной (божественной, определяющей земной ход событий) осях. Про-

¹⁰⁶ Том «Духовной прозы» прошел несколько этапов цензуры. Так, Сербинович цензурировал не сами статьи, а те выписанные фрагменты, которые смутили первого цензора. Сербинович в целом пытался спасти том прозы Жуковского. Характерны его замечания, например, по поводу отрывков из статьи «Наука»: «Нет основания сомневаться в позволительности этих строк», «Невидно причин к запрещению», «Невидно причины для сомнений». Сербинович редактировал некоторые выражения поэта, объяснял мысль Жуковского лицу, который будет читать затем его замечания. Интересно, что Сербинович писал некоторые реплики карандашом, не всегда обводя их чернилами. Приведем один пример (курсивом выделена фраза, написанная карандашом): «Можно бы сказать: (в них есть еще какая то отрицательная сила), *но лучше, не заменяя ничем, исключить*» [Сербинович]. При возникновении трудностей Сербинович отсылал тот или иной фрагмент в следующую цензурную инстанцию — Духовную цензуру или к министру Императорского Двора. Перед исследователем стоит задача поиска архивных документов, содержащих последующие цензурные отзвывы на статьи Жуковского.

шлое — настоящее — будущее формируют цельный, устремленный в вечность взгляд поэта.

Как мы показали, между разными «историческими» текстами Жуковского существует типологическая и/или идеостилистическая связь. Каждый текст — это не только очередная манифестация мировоззренческой позиции Жуковского, но и ситуативная, хронологически конкретная оценка истории с точки зрения *прекрасного*. Его поиск в современной жизни провозглашенных идеалов привел к закономерному сближению с официальной идеологической практикой, суть которой состояла в идеализации существовавшего положения вещей. Но этот же поиск делал позицию Жуковского динамичной и нестабильной, поэтому закономерны, в том числе, его идеологические несовпадения, риторические ошибки и концептуальная критика в адрес членов императорской семьи. В своем творчестве поэт, по сути, совместил два разных вида любви к отечеству: критический и конструктивный, что обусловило балансирование между текстами «для немногих» и для широкой публики. Том «Духовной прозы» был задуман как проект, примиряющий внутренние противоречия. Жуковский представил свой «поэтический идеал», который мог бы стать общим как для монарха, так и для подданного.

История — это жизнь человека, за благосостояние которого ответствен государь. Именно поэтому Жуковский выдвигает на первое место концепцию монарха-человека, а не монарха-героя. Всеобщая история и духовный путь частного человека оказались взаимозависимыми¹⁰⁷, параллельными и соединенными в едином поиске гармонии и Бога. Не случайно, что дневниковые заметки Жуковского о современности переплетены с размышлениями о воспитании, а его религиозный кризис сопровождался созданием политических статей и проектов. Это обстоятельство дало повод Фридриху-Вильгельму IV сетовать в письме к поэту на то, что тот в свое время не занял должности ни министра духовных дел, ни министра народного просвещения (см.: [Фомин: 56]). Идеалистический прагматизм Жуковского мог, однако, реализоваться исключительно в литературном, а не государственном творчестве. Жуковский как историк и идеолог оказался до конца не разгаданным современниками.

¹⁰⁷ Любопытно, что между статьями «Пожар Зимнего дворца» и «О смертной казни» существует типологическая, идеостилистическая связь через образ молящегося народа. Для окончательного варианта статьи 1838 г. поэт переделал такую черновую фразу: «[И **умилительное зрелище** представлялось: народ, который во всю роковую ночь, безчисленный и мирной толпою, **стоял перед погибающим дворцом и молился** за своего Государя»] [Пожар 3].

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Архивные источники

Вяземский 1856 — *Вяземский П. А.* Записка о рассмотрении сочинений В. А. Жуковского в [цензурном] комитете. Помета Г. П. Данилевского // ОР РНБ. Ф. 236. Данилевский Г. П. № 184.

Древняя история — *Жуковский В. А.* Древняя история [Начало русской истории от Рюрика до Владимира Святославича]. [1820-е гг.] // ОР РНБ. Архив В. А. Жуковского. Ф. 286. Оп. 1. № 104.

Жуковский 1827 — *Жуковский В. А.* Письма к императрице Александре Федоровне (1821–1840) // ОР РНБ. Ф. 286. Оп. 2. № 76. Л. 109–110.

Жуковский 1848 — *Жуковский В. А.* Письмо к Л. В. Дубельту. От 10/22 октября 1848 г. // ОР РНБ. Архив В. А. Жуковского. Ф. 286. Оп. 2. № 100.

Жуковский 1849 — *Жуковский В. А.* Письмо к П. В. Нащокину // ОР РНБ. Архив В. А. Жуковского. Ф. 286. Оп. 2. № 446.

Жуковский 1845–1850 — *Жуковский В. А.* Сочинения в прозе 1845–1850 гг. // ОР РНБ. Архив В. А. Жуковского. Ф. 286. Оп. 2. № 39

Записи об учении — *Жуковский В. А.* Записи об учении. Планы // ОР РНБ. Архив В. А. Жуковского. Ф. 286. Оп. 1. № 124.

Записная тетрадь — *Жуковский В. А.* Записная тетрадь // ОР РНБ. Архив В. А. Жуковского. Ф. 286. Оп. 1. № 60.

Исторические вопросы — *Жуковский В. А.* Исторические вопросы. Составлены для занятий с наследником Александром Николаевичем [1820-е гг.] // ОР РНБ. Архив В. А. Жуковского. Ф. 286. Оп. 1. № 100.

Макарий — Письма епископа Макария к Сербиновичу К. С. // ОР РГИА. Ф. 1066. Оп. 1. № 1233.

О самодержавии — *Жуковский В. А.* [О самодержавии]. Заметки и мысли для великого князя. Авторизованная копия // ОР РНБ. Ф. 286. В. А. Жуковский. Оп. 2. № 42.

Письма Константина Николаевича — 11 писем великого князя Константина Николаевича к В. А. Жуковскому 1841–1850 годов // ГАРФ. Ф. 722. Оп. 1. № 663.

Пожар 1 — *Жуковский В. А.* Пожар Зимнего дворца // ОР РНБ. Архив Жуковского В. А. Ф. 286. Оп. 2. № 43.

Пожар 2 — *Жуковский В. А.* Пожар Зимнего дворца // ОР РНБ. Архив Жуковского В. А. Ф. 286. Оп. 2. № 44.

Пожар 3 — Жуковский В. А. Пожар Зимнего дворца // ОР РНБ. Архив Жуковского В. А. Ф. 286. Оп. 2. № 42.

Прощение — Жуковский В. А. Прощение на имя вел. кн. Александры Федоровны о рассмотрении его преподавательской деятельности, как государственной службы [1817 г.]. Черновик // ОР РНБ. Архив Жуковского В. А. Ф. 286. Оп. 2. № 233.

Родионов — Черновик письма Р. Р. Родионова к Жуковскому // ОР РНБ. Архив Жуковского В. А. Ф. 286. Оп. 2. № 134. Л. 138–139.

Родионову 123 — Письма В. А. Жуковского к Р. Р. Родионову. 1841 // ОР РНБ. Архив Жуковского В. А. Ф. 286. Оп. 2. № 123.

Родионову 124 — Письма В. А. Жуковского к Р. Р. Родионову. 1842 // ОР РНБ. Архив Жуковского В. А. Ф. 286. Оп. 2. № 124.

Родионову 125 — Письма В. А. Жуковского к Р. Р. Родионову. 1843 // ОР РНБ. Архив Жуковского В. А. Ф. 286. Оп. 2. № 125.

Родионову 126 — Письма В. А. Жуковского к Р. Р. Родионову. 1844 // ОР РНБ. Архив Жуковского В. А. Ф. 286. Оп. 2. № 126.

Родионову 127 — Письма В. А. Жуковского к Р. Р. Родионову. 1845 // ОР РНБ. Архив Жуковского В. А. Ф. 286. Оп. 2. № 127.

Родионову 129 — Письма В. А. Жуковского к Р. Р. Родионову. 1847 // ОР РНБ. Архив Жуковского В. А. Ф. 286. Оп. 2. № 129.

Родионову 130 — Письма В. А. Жуковского к Р. Р. Родионову. 1849 // ОР РНБ. Архив Жуковского В. А. Ф. 286. Оп. 2. № 130.

Родионову 134 — Письма В. А. Жуковского к Р. Р. Родионову. 1848 // ОР РНБ. Архив Жуковского В. А. Ф. 286. Оп. 2. № 134.

Русская история — Жуковский В. А. [Русская история]. Конспект по «Истории государства Российского» Карамзина // ОР РНБ. Архив В. А. Жуковского. Ф. 286. Оп. 1. № 105 (1, 2, 3, 4, 5).

Сербинович — Замечания цензора Сербиновича К. С. на сборник статей, писем и воспоминаний В. А. Жуковского // ОР РГИА. Ф. 1673. Оп. 1. № 289.

Собиратель — Жуковский В. А. Подготовительные материалы к «Собирателю» // ОР РНБ. Архив Жуковского В. А. Ф. 286. Оп. 1. № 125.

Учебное руководство — Жуковский В. А. «История государства Российского» (до 1237 г.). Учебное руководство. Авторизованная копия. (96 листов) // ОР РНБ. Архив В. А. Жуковского. Ф. 286. Оп. 1. № 103.

Ученические записи — [Александр II]. Ученические записи по русской истории. Характер Великого Князя Александра Невского. Характер Владимира // ГАРФ. Ф. 678. Оп. 1. № 220. С. 25–29.

Ученические записи-2 — [Александр II]. Характер Иоанна III // ГАРФ. Ф. 678. Оп. 1. № 188.

Шляпкин — Шляпкин И. А. Исторические взгляды В. А. Жуковского и 1848 г. // ОР РНБ. Ф. 865. Шляпкин И. А. № 146.

Печатные источники

Александр Невский 1828 — Письмо В. А. Жуковского к Наследнику Цесаревичу, 1828 г., с поднесением картины, изображающей Св. Благоверного Вел. Кн. Александра Невского в отроческом возрасте // Сборник Русского Исторического Общества. СПб., 1881. № 30.

Александр Невский 1831 — Классное сочинение Его Императорского Высочества Государя Великого Князя Наследнику Цесаревича 1831 года. Александр Невский // Сборник Русского Исторического Общества. СПб., 1881. № 30.

Александра Федоровна — Воспоминания Императрицы Александры Федоровны // Александр Второй. Воспоминания. Дневники. СПб., 1995.

Ансело — Ансело Ф. Шесть месяцев в России. Письма к Ксавье Сентину, сочиненные в 1826 г., в пору коронавания его императорского величества. М., 2001.

Архенгольц — Архенгольц. О политических поступках Англии // Вестник Европы. 1808. Январь. № 2.

АТ — Архив братьев Тургеневых / Под ред. Е. И. Тарасова. СПб., 1911–1921. Вып. 1–6.

Беглый взгляд — С. П. Беглый взгляд на возобновленный Зимний дворец // Русский инвалид. 1839. № 95.

Бенкендорф — Бенкендорф А. Х. О России в 1827–1830 годы. (Окончание) // Красный архив. 1930. Т. 1.

Бенкендорф 1834 — Записки графа А. Х. Бенкендорфа (1832–1837 гг.) // Шильдер Н. Император Николай Первый, его жизнь и деятельность. М., 1996. Т. 2.

Блудова — Воспоминания графини А. Д. Блудовой // Русский архив. 1875. Кн. 1. № 2.

Бобылев — *Бобылев Н.* На освящение Зимнего дворца. Марта 26 // Русский инвалид. 1839. № 86.

Бумаги — Бумаги В. А. Жуковского, поступившие в Императорскую Публичную Библиотеку в 1884 г. / Разобраны и описаны И. Бычковым. СПб., 1887.

Бутенев — *Житомирская С. В.* Рассказ очевидца о событиях 14 декабря 1825 г. / Воспоминания Л. П. Бутенева // Исторический архив. М., 1951. Т. VII.

Бутовский — *Бутовский И.* Об открытии памятника Императору Александру Первому. СПб., 1834.

Венчание с Россией — Венчание с Россией. Переписка великого князя Александра Николаевича с императором Николаем I. 1837 год / Публ. Л. Г. Захаровой и Л. И. Тютюнина. М., 1999.

Видок — *Видок Фиглярин.* Письма и агентурные записки Ф. В. Булгарина в III Отделение / Под ред. И. И. Рейтблата. М., 1998.

Витгенштейн — *В. Т.* Из воспоминаний княгини Витгенштейн // Русская старина. 1908. № 12.

Военный журнал — Описание открытия памятника Императору Александру Первому // Военный журнал. 1834. № 5.

Воспоминания — В. А. Жуковский в воспоминаниях современниках / Сост., подг. текста, вст. ст. О. Б. Лебедевой, А. С. Янушкевича. М., 1999.

Воспоминания Бестужевых — Из записок Н. А. Бестужева. 14 декабря 1825 года // Воспоминания братьев Бестужевых / Под ред. П. Е. Щеголева. Пг., 1917.

Воспоминания очевидцев — 14 декабря 1825 года. Воспоминания очевидцев. СПб., 1999.

Вяземский — *Вяземский П. А.* Полн. собр. соч.: В 12 т. СПб., 1878–1896.

Вяземский 1876 — *Вяземский П.* Жуковский в Париже // Русский архив. 1876. № 5.

Вяземский 1988 — *Вяземский П. А.* По поводу бумаг В. А. Жуковского. Два письма к издателю Русского архива // Вяземский П. А. Стихотворения. Воспоминания. Записные книжки. М., 1988.

Вяземский 2003 — *Вяземский П. А.* Старая записная книжка. М., 2003.

Гагерн — *Полковник Гагерн.* Россия и русские в 1839 году // Русская старина. 1891. № 1.

Глинка — *Глинка Ф.* Заветное мгновенье // Москвитянин. М., 1841. № I.

Голенищев — *Голенищев-Кутузов-Толстой*. Четырнадцатое декабря // Русский архив. 1882. № 6.

Голицын — Рассказы князя А. Н. Голицына. Из записок Ю. Н. Бартенева // Русский архив. 1886. № 3.

Голицына — *Голицына Н. И.* Воспоминания // Война женскими глазами. Русская и польская аристократия о польском восстании 1830–1831 годов. М., 2005.

Грен — *Грен А.* Чувства юноши при виде памятника императору Александру Благославленному // Русский инвалид. 1834. № 230.

Дашков — *Дашков Д. В.* Русские поклонники в Иерусалиме. Отрывок из путешествия по Греции и Палестине в 1820 году // Святые места вблизи и издали. Путевые заметки русских писателей I половины XIX века. М., 1995.

Деменков — *Деменков П. М.* Четырнадцатое декабря 1825 года на Петербургских площадях: Дворцовой, Адмиралтейской и Петровской. Записано очевидцем на третий день после происшествия // Русский архив. 1877. № 11.

Державин — *Державин Г. Р.* Сочинения. СПб., 2002.

Дивов — Петербург в 1825–1826 годах (По дневнику П. Г. Дивова) // Русская старина. 1897. № 3.

Дмитриев — *Дмитриев М. А.* Главы из воспоминаний моей жизни. М., 1998.

Добелл — *Добелл*. 30 августа 1834 года, или чувства и мысли при созерцании колонны, посвященной безсмертной памяти Императора Александра I. СПб., 1834.

Евреинова — Выписка из письма И. М. Евреинова из С. Петербурга от 7 января 1826 г. к Н. М. Евреинову в Москву // Из отголосков восстания декабристов / Сообщил Б. Сыроечковский // Красный архив. 1929. Т. 5 (36).

Жуковский — *Жуковский В. А.* Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. Т. I: Стихотворения 1797–1814 годов. М., 1999; Т. II: Стихотворения 1815–1852 годов. М., 2000; Т. XIII–XIV: Дневники. Письма-дневники. Записные книжки 1804–1847 годов. М., 2004.

Жуковский 1827 — *Жуковский В.* Переводы в прозе: В 3 т. СПб., 1827. Т. 3.

Жуковский 1869 — Письмо Жуковского к графу М. Ю. Виельгорскому // Русский архив. 1869. Ч. 7.

Жуковский 1869б — Письмо Жуковского к графине С. М. Соллогуб по случаю кончины детей // Русский архив. 1869. Ч. 7.

Жуковский 1878 — *Жуковский В. А.* Собр. соч.: В 6 т. / Под ред. П. А. Ефремова. СПб., 1878.

Жуковский 1885 — *Жуковский В. А.* Собр. соч.: В 6 т. / Под ред. П. А. Ефремова. СПб., 1885.

Жуковский 1887 — *Жуковский В. А.* Письма к графу Ф. П. Литке // Русский архив. 1887. № 7.

Жуковский 1902 — *Жуковский В. А.* Полн. собр. соч.: В 12 т. / Под ред. А. С. Архангельского. СПб., 1902.

Жуковский 1959–1960 — *Жуковский В. А.* Собр. соч.: В 4 т. / Под ред. И. М. Семенко. М.; Л. 1959–1960.

Жуковский 2001 — *Жуковский В. А.* Проза поэта. М., 2001.

Записки англичанина — Из иностранных журналов. Записки англичанина о 14 декабря // Вестник всемирной истории. 1901. № 1.

Иннокентий — *Иннокентий*. Слово в день возшествия на престол ...Николая Павловича..., сказанное в Киево-Софийском Соборе Ноября 20, 1832 года. Киев, 1834.

Карамзин — *Карамзин Н. М.* История государства Российского: В 12 т. СПб., 1998.

Карамзин 1834 — *Карамзин Н. М.* О случаях и характерах в Российской истории, которые могут быть предметом художеств (Письмо к Господину N.N.) // Сочинения Карамзина. СПб., 1834. Т. VII.

Карамзин 1866 — Н. М. Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам современников / Сост. М. Погодин. М., 1866. Ч. 2.

Карамзин 1997 — *Карамзин Н. М.* О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях // Карамзин Н. М. История Государства Российского. М., 1997. Т. X–XII.

Книжная редкость — Книжная редкость (Муравейник, изд. Жуковского) // Русский архив. 1867. Ч. 5.

Колокольцев — Пожар Зимнего дворца 17, 18 и 19 декабря 1837 г. Из записок старого л.-г. Преображенского полка офицера Д. Г. Колокольцова // Русская старина. 1883. № 11.

Корф — *Корф М.* Записки. Дневники. М., 2003.

Кюстин — *Кюстин А.* Россия в 1839 году: В 2 т. / Под общ. ред. В. Мильчиной. М., 2000.

Лебедев — *Лебедев*. Правда русского гражданина. СПб., 1836.

Ломоносов — *Ломоносов М. В.* Избранные произведения. Л., 1986.

- Марк Аврелий — Слово похвальное Марку Аврелию, сочиненное г. Томасом // Фонвизин Д. И. Собр. соч.: В 2 т. М.; Л., 1959. Т. 2.
- Марк Аврелий 1808 — Гиббон. Характер Марка-Аврелия / Перевод В. А. Жуковского // Вестник Европы. 1808. Ч. 37. № 1.
- Междоусобица — Междоусобица 1825 года и восстание декабристов в переписке и мемуарах членов царской семьи. М.; Л., 1926.
- Менцов — *Менцов Ф.* Певец, к славянам перед отъездом на войну // Библиотека для чтения. СПб., 1839. Т. 36.
- Мердер — *Мердер К. К.* Записки // Русская старина. 1885. № 12.
- Мещерский — *Мещерский А. В.* Из моей старины. Воспоминания // Русский архив. 1900. № 8.
- Монумент Александру — Монумент Александру Благоданному, или подробное описание колонны, воздвигнутой в память незабвенного монарха, 30 августа 1832 года. СПб., 1833.
- Муравьев — *Муравьев А.* Путешествие ко Святым местам в 1830 году. М., 1999.
- Муханова — Из записок М. С. Мухановой // Русский архив. 1878. № 3.
- Нессельроде — 14 декабря 1825 г. в письмах гр. М. Д. Нессельроде / Сообщил Б. Е. Сыроечковский // Красный архив. 1925. Т. 3 (10).
- Николай I — Николай I. Муж. Отец. Император. М., 2000.
- Николай Первый — Николай Первый и его время. Документы, письма, дневники, мемуары, свидетельства современников и труды историков: В 2 т. М., 2000.
- О поэте — *Жуковский В. А.* О поэте и современном его значении // В. А. Жуковский. Эстетика и критика. М., 1985.
- ОА — Остафьевский архив князей Вяземских. СПб., 1899–1909. Т. I–V.
- Оленин — *Оленин А. Н.* Частное письмо о происшествии 14 декабря 1825 года // Русский архив. 1869. Ч. 7.
- Олин — *Олин В.* Картина Восьмилетия России с 1825-го по 1834-й год. СПб., 1833.
- Отрывок — [*Жуковский В. А.*] Отрывок письма из Франкфурта на Майне // Жуковский В. А. Сочинения. СПб., 1857. Т. 13.
- ПВЖ — Переписка П. А. Вяземского и В. А. Жуковского (1842–1852) / Публикация М. И. Гиллельсона // Памятники культуры: Новые открытия. 1979. Л., 1980.

- ПЖТ — Письма В. А. Жуковского к А. И. Тургеневу // Русский архив. 1895.
- Письмо к Константину Николаевичу — *Жуковский В. А.* Письма к Константину Николаевичу // Русский архив. 1867. № 11.
- Письмо к Северину — Письмо В. А. Жуковского к Д. П. Северину // Русская старина. 1902. № 6.
- Письмо к Хомякову — К биографии А. С. Хомякова. Письмо к нему отца его в Париж о событии 14 декабря 1825 года // Русский архив. 1893. № 5.
- Письмо Русского — [*Жуковский В. А.*] Письмо Русского из Франкфурта // Северная Пчела. 1848. № 57.
- Письмо к цесаревичу — *Жуковский В. А.* Письмо к цесаревичу // Русский архив. 1885. Кн. 2. № 7.
- План — *Жуковский В. А.* Подробный план учения Государя Великого Князя Наследника Цесаревича 1826 г. // Русская старина. 1880. Т. 27.
- Плетнев — *Плетнев П. А.* Сочинения и переписка: В 3 т. СПб., 1885. Т. 3.
- Погодин — *Погодин М. П.* Тишина на море и счастливое плавание // Ура-ния. Карманная книжка на 1826 год для любителей и любителей русской словесности. М., 1998.
- Поднебесный — *Поднебесный М.* На сооружение памятника Александру Благословенному // Русский инвалид. 1834. № 219.
- Пожар 1833 — *Жуковский В. А.* Пожар Зимнего дворца. СПб., 1883.
- Пушкин — *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 10 т. М., Л. 1949.
- Разумовская — Письмо гр. Г. Разумовской // Русский архив. 1895. № 8.
- Рассказы — Рассказы очевидцев о пожаре Зимнего дворца // Русский архив. 1865. Ч. 3.
- Россия под надзором — Россия под надзором. Отчеты III отделения 1827–1869 / Сост. М. В. Сидорова, Е. И. Щербакова. М., 2006.
- Смирнова-Россет 1989 — *Смирнова-Россет А. О.* Дневник. Воспоминания / Подг. изд. С. В. Житомирская. М., 1989.
- Смирнова-Россет 2003 — *Смирнова-Россет А. О.* Записки. М., 2003.
- 1812 — Собрание стихотворений, относящихся к незабвенному 1812 году: В 2 ч. М., 1814.
- Солдатское письмо — Солдатское письмо из Бородина // Русский Инвалид. 1839. № 248.

Странств. жид — Жуковский В. А. Странствующий Жид / По рукописи поэта. СПб., 1885.

Стромилов — *Стромилов*. Завистникам России // Сын Отечества. 1838. Т. 7.

Суворов-Рымникский — *Суворов-Рымникский А. А.* Лейб-гвардии конный полк 14 декабря 1825 г. // Русская старина. 1881. № 1.

Тассо — *Тассо [Торквато]* Освобожденный Иерусалим / Перевод С. Е. Раича. М., 1828.

Татаринов — *Татаринов П.* Новая слава России или наши в Венгрии. Современный военный альбом. СПб., 1850.

Телешов — Рассказ И. Я. Телешева о 14 декабря 1825 г. / Сообщил Б. Сыроечковский // Красный архив. 1925. Т. 13.

Тукалевский — *Тукалевский И.* На открытие памятника Императору Александру I // Русский инвалид. 1834. № 222.

Тургенев — *Тургенев И. С.* Полн. собр. соч.: В 30 т. М., 1978. Т. 1.

Тургенев 1827 — Письмо Н. И. Тургенева к Императору Николаю Павловичу // Русский архив. 1895. № 9.

Тургенев 1873 — Письмо А. И. Тургенева к В. А. Жуковскому // Русский архив. 1873. Ч. 11.

Уткинский сборник — Письма В. А. Жуковского, М. А. Мойер, Е. А. Протасовой (Уткинский сборник) / Под ред. А. Е. Грузинского. М., 1904.

Фелькнер — *Фелькнер В. И.* 14 декабря 1825 года // Русская старина. 1870. № 8.

Якубович — *Якубович А.* Герой // Журнал для чтения воспитанникам военно-учебных заведений. СПб., 1839. Т. 20. № 80.

Якушкин — *Якушкин И. Д.* Записки // Декабристы. Избранные сочинения: В 2 т. / Сост. и прим. А. С. Немзера, О. А. Проскурина. М., 1987. Т. 2.

Schiller — *Schiller F.* Werke in drei Bänden. Leipzig, 1958. Bd. 2.

Исследования

Авербух 1931 — Николай 1 и европейская реакция / Вводная статья Р. Авербуха // Красный архив. 1931. Т. 4–5 (47–48).

Авербух 1938 — Австрийская революция 1848 г. и Николай 1 / Вводная статья Р. Авербуха // Красный архив. 1938. Т. 4–5.

Айзикова — *Айзикова И. А.* Жанрово-стилевая система прозы В. А. Жуковского. Томск, 2004.

- Бычков — *Бычков И.* Попытка напечатать «Черты истории государства Российского» В. А. Жуковского в 1837 г. // Русская старина. 1903. № 12.
- Вацуро — *Вацуро В. Э.* Из историко-литературного комментария к стихотворениям Пушкина // Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1986. Т. XII.
- Вацуро, Гиллельсон — *Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И.* Сквозь «умственные плотины». Очерки о книгах и прессе пушкинской поры. М., 1986.
- Веселовский — *Веселовский А. Н.* В. А. Жуковский. Поэзия чувства и «сердечного воображения». М., 1999.
- Виницкий — *Виницкий И.* Дом толкователя. Поэтическая семантика и историческое воображение В. А. Жуковского. М., 2006.
- Витевский — *Витевский В. Н.* В. А. Жуковский в своих письмах как человек и наставник в Бозе почившаго Императора Александра II (1783–1883). Казань, 1883.
- Виттекер — *Виттекер Ц. Х.* Граф Сергей Семенович Уваров и его время. СПб., 1999.
- Воробьева — *Воробьева И. А.* Русские миссии в Святой земле в 1847–1917 годах. М., 2001.
- Вольпе — *Вольпе. Ц.* В. А. Жуковский // Жуковский В. А. Стихотворения. Л., 1939. Т. 1.
- Высочков — *Высочков Л.* Николай I. М., 2003.
- Геллер — *Геллер М.* История Российской империи: В 3 т. М., 1997. Т. 3.
- Гордин — *Гордин Я.* Мятеж реформаторов. 14 декабря 1825 года. М., 1997.
- Грот — *Грот К. Я.* В. А. Жуковский в Москве в 1837 году. СПб., 1902.
- Гузаиров 2002 — *Гузаиров Т.* «Черты истории Государства Российского» В. А. Жуковского: источниковедческая проблема как идеологическая // Русская филология 13. Сб. науч. работ молодых филологов. Тарту, 2002.
- Гузаиров 2004 — *Гузаиров Т.* Способы трансформации фактов в «Записке о Н. Тургеневе» В. А. Жуковского // Лотмановский сборник. 3. М., 2004.
- Жуковский — *Жуковский Г. А.* Пушкин и русские романтики. М., 1995.
- Долинин — *Долинин А.* Вальтер-скоттовский историзм и «Капитанская дочка» // Тыняновский сборник. Выпуск 12: Десятые – Одиннадцатые – Двенадцатые Тыняновские чтения. Исследования. Материалы. М., 2006.
- Дубровин — *Дубровин Н. В.* Жуковский и его отношение к декабристам // Русская старина. 1902. № 4.

Жильцов — *Жильцов С. В.* Смертная казнь в истории древнерусского права. Тольятти, 1995.

Завещание — *Пичета В.* Завещание Николая I сыну // Красный архив. М., 1923. Т. 3.

Зайцев — *Зайцев Б.* Жуковский. Литературная биография. М., 2001.

Захарова — *Захарова Л.* Дневник цесаревича // Родина. 1993. № 1.

Зейдлиц — *Зейдлиц К. К.* Жизнь и поэзия Жуковского: По неизданным источникам и личным воспоминаниям. СПб., 1883.

Зорин — *Зорин А.* Кормя двуглавого орла... Литература и государственная идеология в России в последней трети XVIII – первой трети XIX века. М., 2001.

Зубов — *Зубов А.* Николай Первый Павлович // Новый журнал. 2006. № 244.

Иезуитова — *Иезуитова Р. В.* Жуковский в Петербурге. Л., 1976.

К. П. — [К П.] В. А. Жуковский // Русская старина. 1880. Т. 27.

Канунова 1978 — *Канунова Ф. З.* Русская история в чтении и исследованиях В. А. Жуковского // Библиотека В. А. Жуковского в Томске. Томск, 1978. Ч. 1.

Канунова 1987 — *Канунова Ф. З.* О философско-исторических воззрениях Жуковского (по материалам библиотеки поэта) // Жуковский и русская культура. Сб. науч. трудов. Л., 1987.

Канунова 1988 — *Канунова Ф. З.* Карамзин и Жуковский (Некоторые вопросы изучения русской истории по материалам библиотеки В. А. Жуковского) // XVIII век. СПб., 1988. Сб. 16.

Канунова 1999 — *Канунова Ф. З.* Н. М. Карамзин в историко-литературной концепции В. А. Жуковского (1826–1827 гг.) // XVIII век. СПб., 1999. Сб. XXI.

Кирпичников — *Кирпичников А. И.* Последние годы и дни Жуковского. СПб., 1902.

Киселева 1997 — *Киселева Л. Н.* Становление русской национальной мифологии в николаевскую эпоху (сусанинский сюжет) // Лотмановский сборник 2. М., 1997.

Киселева 1998 — *Киселева Л. Н.* Карамзинисты — творцы официальной идеологии (заметки о российском гимне) // Тыняновский сборник. Шестые – Седьмые – Восьмые Тыняновские чтения. М., 1998.

- Киселева 1999 — *Киселева Л.* Жизнь за царя (Слово — музыка — идеология в русском театре 1830-х годов) // Культурные практики в идеологической перспективе // Россия / Russia 3 [11]. М.; Венеция, 1999.
- Киселева 2001 — *Киселева Л. Н.* Пушкин и Жуковский в 1830-е годы (точки идеологического сопряжения) // Пушкинская конференция в Стэнфорде 1999. Материалы и исследования. М., 2001.
- Киселева 2001б — *Киселева Л. Н.* «Очерки Швеции» Жуковского и карамзинская традиция // Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение. IV. Новая серия. Тарту, 2001.
- Киселева 2002 — *Киселева Л.* «Орлеанская дева» Жуковского как национальная трагедия // *Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia VIII.* История и историософия в литературном преломлении. Тарту, 2002.
- Киселева 2004 — *Киселева Л. Н.* Жуковский — преподаватель русского языка (начало «царской педагогики») // Пушкинские чтения в Тарту 3. Материалы международной конференции, посвященной 220-летию В. А. Жуковского и 200-летию Ф. И. Тютчева. Тарту, 2004.
- Киселева 2005 — *Киселева Л. Н.* «Царь сердец», или Карамзинский панегирик // Шиповник. Историко-филологический сборник к 60-летию Р. Д. Тименчика. М., 2005.
- Киселева 2006 — *Киселева Л.* Мифы и легенды «царской педагогики»: Случай Николай I // История и повествование / Под ред. Г. В. Обатнина и П. Песонена. М., 2006.
- Киселева 2007 — *Киселева Л.* Диалог Вяземского и Жуковского о Святой Руси // «На меже меж Голосом и Эхом»: Сборник статей в честь Татьяны Владимировны Цивьян / Сост. Л. О. Зайонц. М., 2007.
- Коркунова — *Коркунова Н. М.* С. Е. Десницкий. Первый Русский Профессор Права. СПб., 1894.
- Корнилов — *Корнилов А.* Курс истории России XIX века. М., 2004.
- Краевский — *Краевский А.* Об исторических таблицах В. А. Жуковского // Журнал Министерства Народного Просвещения. 1836. Т. X. Февраль.
- Кузовкина — *Кузовкина Т. Д.* «Люди горели в удивительном порядке» (к формированию официального языка николаевской эпохи) // *Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia VIII.* История и историософия в литературном преломлении. Тарту, 2002.
- Кучерская — *Кучерская М.* Константин Павлович. М., 2005.
- Лейбов — *Лейбов Р.* 1812: две метафоры // Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение. II. (Новая серия). Тарту, 1996.

Лобанов — *Лобанов В. В.* Библиотека В. А. Жуковского (описание). Томск, 1981.

Лотман 1995 — *Лотман Ю. М.* Идеиная структура «Капитанской дочки» // Лотман Ю. М. Пушкин. СПб., 1995.

Лотман 1997 — *Лотман Ю. М.* Карамзин. СПб., 1997.

Малиновский — *Малиновский И.* Русские писатели-художники о смертной казни // Известия Императорского Томского университета. Томск, 1910. Т. 38.

Михневич — *Михневич А.* Жуковский как педагог // Педагогический сборник. 1902. Декабрь.

Модзалевский 1925 — *Модзалевский Б. Л.* Жуковский и братья Тургеневы // Декабристы. Неизданные материалы и статьи / Под ред. Б. Л. Модзалевского и Ю. Г. Оксмана. М., 1925.

Назаревский — *Назаревский В. В.* Царствование императора Николая I. М., 1910.

Неклюдова — *Неклюдова М.* «Милость/правосудие»: о французском контексте пушкинской темы // Пушкинские чтения в Тарту 2. Тарту, 2000.

Немзер — *Немзер А.* «Сии чудесные виденья...» // Зорин А. Л., Зубков Н. Н., Немзер А. С. «Свой подвиг свершив»: О судьбе произведений Г. Р. Державина, К. Н. Батюшкова, В. А. Жуковского. М., 1987.

Немзер 1990 — *Немзер А. С.* Жуковский в интерпретациях Тынянова // Тыняновский сборник. Четвертые Тыняновские чтения. Рига, 1990.

Немзер 1998 — *Немзер А. С.* Поэзия Жуковского в шестой и седьмой главах романа «Евгений Онегин» // Пушкинские чтения в Тарту 2. Тарту, 2000.

Немзер 2001 — *Немзер А.* Небесное и земное // Жуковский В. А. Проза поэта. М., 2001.

Немзер 2006 — *Немзер А.* В свете Жуковского // Немзер А. С. Дневник читателя. Русская литература в 2005 году. М., 2006.

Нечкина — *Нечкина М.* Новый рассказ о казни декабристов // Красный архив. 1930. Т. I.

Нечкина 1985 — *Нечкина М. В.* День 14 декабря 1825 года. М., 1985.

Осват, Рогинский — *Осват А. Л., Рогинский А. Б.* Историческая проза и государственный миф // Старые годы. Русские исторические повести и рассказы первой половины XIX в. М., 1989.

Осповат, Тименчик — *Осповат А. Л., Тименчик Р. Д.* «Печальну повесть сохранить...». М., 1987.

Полиевктов — *Полиевктов М.* Николай I. Биография и обзор царствования. М., 1918.

Проскурин — *Проскурин О. А.* Поэзия Пушкина, или Подвижный палимпсест. М., 1999.

Ребеккини — *Ребеккини Д. В. А.* Жуковский и французские мемуары при дворе Николая I (1828–1837). Контекст чтения и его интерпретация // Пушкинские чтения в Тарту 3. Тарту, 2004.

Рейфман — *Рейфман П. С.* Из истории русской, советской и постсоветской цензуры (<http://www.ruthenia.ru/reifman>).

Сакулин — *Сакулин П. Н.* [Вступительная статья] // Жуковский В. А. Проза. Пг., 1915.

Самовер — *Самовер Н. В.* «Не могу покорить себя ни Булгариним, ни даже Бенкендорфу...» Диалог В. А. Жуковского с Николаем I в 1830 году // Лица: Биографический альманах. М., 1995. Вып. 6.

Семенко — *Семенко И. М.* Жизнь и поэзия Жуковского. М., 1975.

Сергеевский — *Сергеевский Н. Д.* Смертная казнь в России в XVII и первой половине XVIII века. СПб., 1884.

Серебровская — *Серебровская Е.* Записка Николая I о казни декабристов // Новый мир. 1958. № 9.

Сказин — *Сказин Е. В.* Заметки Н. К. Шильдера о восстании 14 декабря и имп. Николае I // Каторга и ссылка. М., 1925. № 2 (15).

Степанищева — *Степанищева Т. Н.* Поздние баллады Жуковского (Эволюция жанра) Диссертация на соискание ученой степени magister artium по русской литературе. Тарту, 1997.

Степанов — *Степанов Н. П.* В. А. Жуковский как наставник Царя-Освободителя. СПб., 1902.

Сыроечковский — Николай I и начальник его штаба в дни казни декабристов / Подготовил Сыроечковский Б. // Красный архив. М., 1826. Т. 4.

Тартаковский — *Тартаковский А. Г.* 1812 год и русская мемуаристика. М., 1980.

Тартаковский 1996 — *Тартаковский А. Г.* Неразгаданный Барклай. М., 1996.

Татищев — *Татищев С. С.* Император Александр II. Его жизнь и царствование. М., 2006.

Уортман — *Уортман Р. С.* Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии: В 2 т. М., 2004.

Чешихин — *Чешихин Вс.* Жуковский как переводчик Шиллера. Рига, 1895.

Шелкопляс — *Шелкопляс Н. А.* Смертная казнь в России: история становления и развития (IX – сер. XIX вв.). Минск, 2000.

Шильдер 1890 — *Шильдер Н. К.* Вступление на престол Императора Николая I в записках ген.-лейт. Михайловского-Данилевского // Русская старина. 1890. № 11.

Шильдер — *Шильдер Н.* Император Николай Первый. Его жизнь и царствование: В 2 кн. М., 1997.

Шляпкин 1912 — *Шляпкин И. А.* В. А. Жуковский и его немецкие друзья (Неизданные документы 1842–1850 гг. из картонов Фарнгагена фон Энзе). СПб., 1912.

Щеголев — *Щеголев П. Е.* Дуэль и смерть Пушкина. СПб., 1999.

Щербатов — *Щербатов.* Генерал-фельдмаршал кн. Паскевич. Его жизнь и деятельность. СПб., 1899.

Федотов — *Федотов А.* О значении слова Русь в наших летописях // Русский исторический сборник. М., 1837. Т. 1. Кн. 2.

Фомин — *Фомин А.* Поэт и король или история одной дружбы. Переписка В. А. Жуковского с королем Прусским Фридрихом-Вильгельмом IV. СПб., 1913.

Фрайман — *Фрайман Т.* Творческая стратегия и поэтика Жуковского (1800 – первая половина 1820-х годов). Тарту, 2002.

Эйдельман 2004 — *Эйдельман Н.* Последний летописец. М., 2004.

Эйдельман 2005 — *Эйдельман Н.* Апостол Сергей. М., 2005.

Янушкевич 1978а — *Янушкевич А. С.* Круг чтения В. А. Жуковского 1820–1830-х гг. как отражение его общественной позиции // Библиотека В. А. Жуковского в Томске. Томск, 1978. Ч. 1.

Янушкевич 1978б — *Янушкевич А. С.* Жуковский и Ломоносов // Библиотека В. А. Жуковского в Томске. Томск, 1978. Ч. 1.

Янушкевич 1990 — *Янушкевич А. С.* В. А. Жуковский и Великая французская революция // Великая французская революция и русская литература. Л., 1990.

Янушкевич 1994 — *Янушкевич А. С.* [Вступительная статья] // Из дневников В. А. Жуковского 1827–1840 годов / Публ., прим. А. С. Янушкевича // Наше наследие. 1994. № 32.

Янушкевич 2006 — Янушкевич А. С. Творчество Жуковского как художественная система // Янушкевич А. С. В мире Жуковского. М., 2006.

Black — *Black J. L.* Nicholas Karamzin and Russian Society in the Nineteenth Century: A Study in Russian Political and Historical Thought. University of Toronto Press, 1975.

Cadot — *Cadot M.* L'image de la Russie dans la vie intellectuelle française (1839–1856). P., 1967.

Hunt — *Hunt, Lynn.* La rivoluzione francese. Politica, cultura, classi sociali. Società editrice Mulino, 2001.

Riasonovsky — *Riasanovsky N.* Nicholas I and official nationality in Russia, 1825–1855. Berkley; Los Angeles, 1959.

Salupere — *Salupere M.* Mõnda mõistatusliku inimese elukäigust. Lisandusi Timotheus Eberhard von Bocki tundmiseks // Salupere M. Tõed ja tõdemused. Tartu, 1998.

Wortman — *Wortman R.* Scenarios of Power: Myth and Ceremony in Russian Monarchy. Princeton University Press. 1995. Vol. I.

РАБОТЫ АВТОРА ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

1. «Черты истории государства Российского» В. А. Жуковского: источниковедческая проблема как идеологическая // Русская филология. 13. Сб. научных работ молодых филологов. Тарту, 2002. С. 47–53. ISSN 1406–0019.
2. «Черты истории государства Российского» В. А. Жуковского в контексте николаевской эпохи // *Studia Russica Helsingiensi et Tartuensi* VIII. История и историософия в литературном преломлении. Тарту, 2002. С. 163–181. ISSN 1239–1611. ISBN 9985–56–691–2.
3. Жуковский как адвокат Н. Тургенева // Лотмановский сборник 3. Москва: ОГИ, 2004. С. 961–974. ISBN 5–94282–151–8.
4. Русский за границей: В. А. Жуковский 1842–1849 гг. // Пушкинские Чтения 3. Материалы международной научной конференции, посвященной 220-летию В. А. Жуковского и 200-летию Ф. И. Тютчева. Тарту, 2004. С. 254–275. ISBN 9985–56–997–0. ISSN 1736–2318.
5. «Праведный государь» или «милостивый монарх»: Концепция монарха в «Записке о Н. Тургеневе» В. А. Жуковского // *Toronto Slavic Quarterly: University of Toronto. Academic Electronic Journal in Slavic Studies*. № 13. Summer 2005. <http://www.utoronto.ca/tsq/13/guzairov13.shtml>
6. Жуковский — историк «великой минуты» // Труды по русской и славянской филологии V. Новая серия. Литературоведение. Тарту, 2005. С. 80–104. ISSN 1024–3968. ISBN 9949–11–236–2.
7. Комментарий к стихотворению В. А. Жуковского «К русскому великану» // *Лесная текстология: труды летней школы на Карельском перешейке по текстологии и источниковедению русской литературы* / Под ред. А. Кобринского. Санкт-Петербург, 2006. С. 52–59. ISBN 5–9393–6–010–6.
8. В поисках веры: о предыстории создания статьи «О смертной казни» Жуковского // *Humaniora: Litterae Russicae. Studia Russica Helsingiensi et Tartuensi* X. «Век нынешний и век минувший»: Культурная рефлексия прошедшей эпохи. Тарту, 2006. Ч. 1. С. 203–220. ISSN 1239–1611. ISBN 978–9949–11–519–8.
9. Жуковский — историк николаевского царствования // *Eesti Kunstimuuseumi toimetised. Kadrioru kunstimuuseumi kevadkonverents 2007. “Vene valitsejate portreed”* (в печати).
10. Жуковский и Бородинское торжество 1839 г.: опыт комментария // *Humaniora: Litterae Russicae. Пушкинские чтения, 4. Пушкинская эпоха: проблемы рефлексии и комментария*. Тарту (в печати).
11. Обретенное время: Жуковский и открытие Александровской колонны // *Humaniora: Litterae Russicae. Труды по русской и славянской филологии, VI. Новая серия. Литературоведение*. Тарту (в печати).

KOKKUVÕTE

Žukovski — Nikolai I valitsemisperioodi ajaloolane ja ideoloog

Teaduslikus kirjanduses on välja kujunenud arusaam, et pärast 1825. aastat algas Žukovski loominguline loojang. On ilmselge, et selline lähenemine on tingitud Žukovski Nikolai-aegse loomingu alaväärtustamise ning selle tulemusena omakorda ebapiisava uurimise.

Käesolev töö on pühendatud just sellele perioodile Žukovski loomingus, hõlmates peaaegu täielikult Nikolai valitsemisaja kronoloogilisi raame (1825–1852). Uurimus keskendub Žukovski ajaloolisele mõtlemisele Nikolai valitsemisajal, mil tema roll riikliku ideoloogia kujunemisel oli märgatav. Just seetõttu on antud töö eesmärgiks Žukovski ideoloogilise praktika kirjeldamine selle ajaloolises dünaamikas.

Väitekirja esimeses peatükis “Žukovski esitatud Nikolai valitsemisaja programm” käsitletakse poeedi eneseidentifitseerimist Nikolai I õukonnas ajaloolase ja ideoloogina ning tema ühiskondlik-poliitilise programmi geneesi ja evolutsiooni. Püütakse rekonstrueerida Žukovski vaatepunkt 1825. aasta 14. detsembri sündmustele ning uurida, kuidas sündmused, mille tunnistajaks ta oli, omandavad tema kirjelduse kaudu uue tähenduse. Teine peatükk “Ideali otsingud: Žukovski Nikolai I (1825–1839) õukonnas” hõlmab perioodi, mil poet täitis troonipärija kasvataja kohustusi. Luuletaja ajalooliste kirjutiste ja “teatud sündmuse puhul” kirjutatud tekstide analüüs võimaldab jälgida pingelist sisemist dialoogi Žukovski erinevate rollide — eraisiku, tsaaripoja kasvataja ja ideooloogi vahel.

Kolmandas peatükis “Kaotatud ideaali otsingutel: Žukovski välismaal (1841–1850)” rekonstrueeritakse varem uurimata episoodid poeedi ja tsaariperekonna vahelises epistolaarses suhtlemises, käsitletakse hiliseid ühiskondlik-poliitilisi “manifeste”, mis olid suunatud positiivse kuvandi loomisele tsaarist ja Venemaast Euroopas ja kodumaal. Põhjalikumalt käsitletakse seda, kuidas Žukovski otsis võimalust maailmas harmoonia saavutamiseks, mis Žukovski arvates pidi rahuldama ka Nikolai I. Tekkinud uue maailmavaatelise kriisiga kaasnesid Žukovskil kaotatud kristlike ideaalide keerulised hingelised otsingud, mis lõppesid utopia loomisega (“Jeruusalemma projekt”) ja surmanuhtluse sakraliseerimisega. Žukovski 1849–1850-ndate aastate projektide geneesi uurimine võimaldab käsitleda poeedi maailmavaate ja loomingu arengu iseloomu küsimust tervikuna.

Lõppsõnas, mis sisaldab töö tulemuste lühiülevaadet, puudutatakse hilise Žukovski maine probleeme ja tema usuteemaliste tööde retseptiooni (muuhulgas poeedi koostatud vaimuliku proosa kõite tsensuuri lugu). Žukovski kui ajaloolase ja ideooloogi seisukohtade iseloomustus loob väitekirja autori arvates palju terviklikuma pildi poeedi biograafiast Nikolai valitsemisajal.

Ühtlasi esitatakse kokkuvõtvas vormis käesoleva uurimuse põhilised suunad ja järeldused.

Žukovski oli praktiliselt Nikolai I ajastu alguse ja loojangu tunnistajaks, osales selle aja kõige erinevates sündmustes (traagilistest kataklüsmidest pidulike triumfideni), mille ajaloolist tähendust ta pidevalt reflekteeris.

Artiklis “Ajalugu ja ajalooline maalikunst” eristas Žukovski kolme liiki ajaloolasi. Autori seisukohast on tõeline ajaloolane mitte kroonikakirjutaja ja mitte õpetlane, vaid “ajaloolane-jutlustaja”, kes väljendab “Jumalat inimlikes tegemistes”. Teiste sõnadega — see on ideoloog, kes püüab ära arvata Jumala plaani sündmustes ja on võimeline seda kõigile kaasaegsetele edastama.

Veel 1797. aastal kirjutas Žukovski oodi Pavel I-le, kus visandas oma küpsete ajaloolis-poliitiliste arutluste põhisüžee — harmoonia saavutamine taevase ja maise vahel.

“Imekauni maailma” ülesehitamine saab tema veendumuse järgi toimuda vaid inimese-monarhi juhtimisel. Hiljem tuletas poeet korduvalt tsaariperekonnale seda mõtet meelde, mis leidis edasiarendamist tema läkituses “Imperaator Aleksandrile”. Žukovski arvates peab valitseja ära teenima lauliku lugupidamise ja kiituse oma inimlike omaduste ja tegudega. Poeet on monarhi ajaloolane ja kohtumõistja. Just sellise ajaloolasena ilmutab Žukovski ennast 1812–1814-ndate aastate sündmusi käsitlevates poeetilistes tekstides, ning seejärel ka 1825–1850-ndate aastate ajaloolistes ja ilukirjanduslikes teostes, mille keskmes on juba imperaator Nikolai.

Aleksandri valitsemisajal loodud Žukovski teostes kujuneski välja teoreetiline tuum, millel baseerusid tema Nikolai valitsemisaja ühiskondlik-poliitilised vaated ja ideoloogiline praktika. Taoline poeedi iseärasus tingis selle, et tema ajaloolisi vaateid ja poliitilist positsiooni kirjeldati teaduskirjanduses staatilise, suletud süsteemina. Kuid tema tekstide, kaasa arvatud ettevalmistavate materjalide, igakülgne uurimine, ja mis kõige tähtsam, nende ilmumise ja funktsioneerimise ajaloolis-kultuuriliste tingimuste analüüs (mida on püütud teostada käesolevas töös) demonstreerib, et isegi lemmikideede kordamisel nende esitamise vormid ja ümbritsev kontekst erinesid tekstist teksti olulisel määral. Poeet oli pidevais otsinguis, “vaheseisundis”: ta püüdis korduvalt uuesti avada oma ühiskondlik-poliitilist ideaali ja kohandada seda reaalsusega.

Poeedi ja imperaatorliku perekonna vahelised suhted kulgesid kahes sfääris — teenistusalasest ja isiklikust. Poeedi isiklikud kontaktid tsaariperekonnaga hellitasid paljuski tema illusioone ja lootusi Nikolaile. Imperaatori kuju konstrueeris Žukovski kahest aspektist: reaalsest ja soovitud (so ideaalsetest iseloomujoontest, mis, nagu poeet siiralt uskus, olid Nikolaile omased). On seaduspärane, et kujundades oma visiooni monarhist fikseeris ta iga minuti, mil imperaator ilmutas vaimusuurust.

Žukovski ja Nikolai I vahel eksisteeris ilmne hoiakute mittevastavus. Tsaar, kes tundis poeeti ammu, eelistas Žukovskile-juhendajale Žukovskit-laulikut ja inimest. Žukovski ise pretendeeris Nikolai valitsemise *arhitekti* rollile kuid Nikolai I andis “oma” poeedile *riikliku müüdi lauliku* rolli. Mittevastavus kom-

munikatiivsetes oodustes sisaldas tulevaste konfliktide seemneid ja kätkes endas ohtu 1817. aastast kestnud idüllile Žukovski ja imperaatorliku paari vahel.

Ühiskondlik-poliitilises sfääris oli Žukovski tegevus suunatud *kauni* otsingutele ja loomisele, mis määratles tema ideoloogilise loomingu iseloomu. Oma ülesannet nägi Žukovski-ideoloog selles, et muuta oma sõnaga (kirjade, loomingu, projektidega) õukonna maailm ühiskonnakorralduse ideaalmudeliks. Vastuolud tegelikkuse ja tema ideaalkujutuse vahel viisid sisemiste kriisideni, millest väljapääsu nägi Žukovski usu leidmises ja jumaliku plaani mõistmises.

Žukovski ei arutlenud mitte niivõrd kui ajaloolane, vaid kui poet. Väitekirja autori arvates programmeerisid just kirjandusteosed Žukovski ühiskondlik-poliitilisi vaateid, tema hinnangut tegelikele sündmustele, määratlesid tema poolt kasutatavate mõistete keele ja ringi. Käesolevas töös on püütud välja tuua need ajaloosündmuste mõtestamise mudelid ja koodid, mida ta oma teostes kasutas ja millele orienteerus oma käitumises, eriti suhtlemises valitsejatega.

Töös on püütud näidata kuidas Žukovski hilises publitsistikas muutusid monarhistlike ideaalide ajastu kriisi jooned. Žukovski oli veendunud monarhia pooldaja, kuid suhtus sageli monarhide tegudesse üsna kriitiliselt. Rahva rahulolematuse põhjused, revolutsioonid, konfliktsituatsioonide lahendamise viisid erutasid teda väga. Kogu elu püüdis ta leida monarhi ja alamate vahelise ideaalse "suhtlemise" mudelit. Seaduspäraselt lähendasid need otsingud Žukovskit ametliku ideoloogiaga, mille põhiolemus seisnes hetkeolukorra idealiseerimises. Kuid samad otsingud muutsid tema positsiooni dünaamiliseks, mistõttu on loomulik ka tema vaadete mittevastavus ametliku liiniga, retoorilised "vead" ja kriitika imperaatorliku perekonna liikmete aadressil. Poet sisuliselt liitis oma loomingu kaks isamaaarmastuse viisi: kriitilise ja konstruktiivse. Esimene väljendub peamiselt tekstides "vähestele", teine trükis ilmuvates laiale lugejaskonnale suunatud teostes. Tema viimane projekt, "Vaimuliku proosa" kogumik, oli kavandatud sisemisi vastuolusid lepitama. Žukovski esitas selles oma ideaali, mis tema arvates võis saada ühiseks nii monarhile kui alamatele. Nendes religioossetes artiklites, mille tsensuur ära keelas, osutusid üldine ajalugu ja eraisiku vaimne teekond vastastikku sõltuvateks, ühendatuiks ühistes harmoonia- ja Jumala-otsingutes. Mitte juhuslikult ei kirjutanud Žukovski paralleelselt religioossete artiklitega poliitilisi artikleid ja projekte. Kuid tema idealistlik pragmatism sai ikkagi eranditult realiseeruda vaid ilukirjanduslikus, mitte riiklikus, loomingu.

CURRICULUM VITAE

Тимур Гузаиров

Гражданство: эстонское
Дата и место рождения: 9 сентября 1977, Кохтла-Ярве
Адрес: Тарту 50707, Мыйзавахе 65–34
Телефон, факс: (+372)56622795, (+372)7376352
Электронная почта: timguz@yandex.ru

Образование

1984–1991 Кохтла-Ярвская 17 средняя школа
1991–1995 Йыхвиская русская гимназия
1995–2000 Тартуский университет, отделение русской и славянской филологии, ВА
2000–2002 Тартуский университет, отделение русской и славянской филологии, магистратура, МА (русская литература)
2002–2007 Тартуский университет, отделение русской и славянской филологии, докторантура (русская литература)

Владение языками

русский, эстонский, английский, французский, итальянский, немецкий

Послужной список

2005–2007 исполнитель проекта GP2NC6469 “Russian-Estonian cross-cultural relations: The history of the formation of the Estonian culture image”

Профессиональное совершенствование

2001 Università per Stranieri di Perugia (Italia)
2002 Università per Stranieri di Perugia (Italia)
2003 Università degli Studi di Milano (Italia)
2004 L'école internationale de l'Alliance Française de Lyon (France)
2005 Berthold-Schwarz Institut (Freiburg, Deutschland)
2006 Université d'été française (Universität Leipzig, Deutschland)

Научная работа

Область научных интересов: история литературы и культуры первой половины 19 века, творчество В. А. Жуковского, идеология и политическая история николаевского царствования, образ Эстонии и эстонцев в русской культуре.

Опубликовано 11 статей, из них 4 в международных изданиях. 4 статьи приняты к публикации.

CURRICULUM VITAE

Timur Guzairov

Kodakondsus: Eesti
Sünniaeg ja koht: 9. september 1977. a, Kohtla-Järve
Aadress: Mõisavahe 65–34, Tartu 50707
Telefon, faks: (+372)56622795, (+372)7376352
E-post: timguz@yandex.ru

Haridus

1984–1991 Kohtla-Järve 17. Keskkool
1991–1995 Jõhvi Vene Gümnaasium
1995–2000 Tartu Ülikool, vene ja slaavi filoloogia osakond, BA
2000–2002 Tartu Ülikool, vene ja slaavi filoloogia osakond, magistriõpe, MA (vene kirjandus)
2002–2007 Tartu Ülikool, vene ja slaavi filoloogia osakond, doktoriõpe (vene kirjandus)

Keelteoskus

eesti, vene, inglise, prantsuse, itaalia, saksa

Teenistuskäik

2005–2007 ETF grandi GP2NC6469 “Russian-Estonian cross-cultural relations: The history of the formation of the Estonian culture image” põhitäitja

Täiendus

2001 Università per Stranieri di Perugia (Italia)
2002 Università per Stranieri di Perugia (Italia)
2003 Università degli Studi di Milano (Italia)
2004 L'école internationale de l'Alliance Française de Lyon (France)
2005 Berthold-Schwarz Institut (Freiburg, Deutschland)
2006 Université d'été française (Universität Leipzig, Deutschland)

Teadustöö

Peamised uurimisvaldkonnad: 19. sajandi vene kirjanduse ja kultuuri ajalugu, V. Žukovski looming, Nikolai I ajastu poliitiline ajalugu ja ideoloogia, Eesti ja eestlaste kuvand vene kultuuris.

Kokku on ilmunud 11 artiklit, neist 4 rahvusvahelistes väljaannetes. 4 artiklit on avaldamiseks vastu võetud.

**DISSERTATIONES PHILOLOGIAE SLAVICAE
UNIVERSITATIS TARTUENSIS**

1. Юрий Кудрявцев. Очерки по русской фонологии и морфонологии. Тарту, 1996. 157 с.
2. Светлана Туровская. Проблемы изучения модальных смыслов: теоретический аспект (на материале современного русского языка). Тарту, 1997. 136 с.
3. Елена Погосян. Восторг русской оды и решение темы поэта в русском панегирике 1730–1762 гг. Тарту, 1997. 158 с.
4. Ирина Белобровцева. Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Конструктивные принципы организации текста. Тарту, 1997. 167 с.
5. Светлана Кульюс. Эзотерические коды романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита» (эксплицитное и имплицитное в романе). Тарту, 1998. 207 с.
6. Леа Пильд. Тургенев в восприятии русских символистов (1890–1900-е годы). Тарту, 1999. 136 с.
7. Роман Лейбов. «Лирический фрагмент» Тютчева: жанр и контекст. Тарту, 2000. 143 с.
8. Валентина Щаднева. Дискурсивно обусловленные невербализованные компоненты высказывания. Тарту, 2000. 212 с.
9. Александр Данилевский. Поэтика «Повести о пустяках» Б. Темирязева (Юрия Анненкова). Тарту, 2000. 151 с.
10. Татьяна Фрайман. Творческая стратегия и поэтика Жуковского (1800 – первая половина 1820-х годов). Тарту, 2002. 165 с.
11. Татьяна Троянова. Антропоцентрическая метафора в русском и эстонском языках (на материале имен существительных). Тарту, 2003. 166 с.
12. Елена Нымм. Литературная позиция И. Ясинского (1890–90-е гг.). Тарту, 2003. 169 с.
13. Эрика-Оксана Хааг. Функциональная типология и средства выражения причинно-следственных отношений в современном русском языке. Тарту, 2004. 165 с.
14. Вадим Семенов. Иосиф Бродский в северной ссылке: поэтика автобиографизма. Тарту, 2004. 176 с.
15. Роман Войтехович. Психея в творчестве М. Цветаевой: Эволюция образа и сюжета. Тарту, 2005. 165 с.
16. Анжелика Штейнгольд. Отражение древнеславянских верований в русском лексиконе. Тарту, 2006. 202 с.
17. Катрин Кару. Уступительные конструкции в эстонском и русском языках. Тарту, 2006. 248 с.
18. Оксана Паликова. Двухязычный словарь и функционально значимые связи слова. Тарту, 2007.